

Б.К. Зайцев Дневник писателя



29 янв. 1881г. в г. Одесса
Свистопольский Николай Павлович,
сын Горюхины Марии Павловны,
с Сидорова П. П. Туринского
по поводу...
теперь...
на Вас...
вспомин...
о 190...
ский...
школах...
Калуж...
и с...
семья...
и...
Ташкент...
Та. Дел...
Тку) с...
негней...
в 189...
в Ко...
в Ма...



Б.К. Зайцев

Дневник писателя

Российская Академия наук
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)



Бор. Зайцев

Б. К. Зайцев

Дневник писателя

Москва

Дом Русского Зарубежья
им. Александра Солженицына

Русский путь

2009

УДК 882.0
ББК 84Р7
3-17

Издано
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати
и массовым коммуникациям
в рамках
Федеральной целевой программы
«Культура России»

Вступительная статья,
подготовка текста,
комментарии
А. М. Любомудрова
Дизайн М. В. Авдеевой

ISBN 978-5-98854-015-1
ISBN 978-5-85887-334-1

© Б. К. Зайцев, наследники, 2009
© Русский путь, 2009

А. М. Любомудров
«Дневник писателя»
Б. К. Зайцева:
Диалог времен,
культур и традиций

Универсализм, эрудиция, отзывчивость Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972), широкий круг знакомств в литературном мире (он встречался едва ли не со всеми крупными русскими литераторами начала XX в.), необычайно долгий период его творческой активности, продолжавшийся семь десятилетий, а также прекрасная память и дар мемуариста — все это определяет высокую значимость зайцевского наследия для постижения историко-культурных процессов как в России, так и в Европе. Зайцев фиксировал, осмыслял и оценивал взаимодействие различных культурных потоков начала и середины XX столетия и сам являлся организатором и участником многих культурных инициатив. Счастливое сочетание чуткости художника и трезвого аналитического дара дало ему возможность объективно оценивать исторические явления и процессы, способность видеть их глубинный смысл и перспективу.

В 1990-е гг., когда началось интенсивное изучение культуры русского зарубежья, возрос интерес и к мемуаристике. В последнее десятилетие предприняты успешные попытки познакомить читателя с наследием Зайцева, появилось немало работ, посвященных его биографии и творчеству. После выхода очерковых книг «Странник» и «Дни», а также томов публицистики в Собрании сочинений началось серьезное исследование литературно-критических жанров Зайцева. В то же время его художественное наследие до сих пор не собрано целиком, часть произведений, опубликованных Зайцевым в периодике зарубежья, в том числе

«Дневник писателя», остается неизвестной российскому читателю.

Комментированное научное издание цикла «Дневник писателя» призвано восполнить этот пробел.

История создания и жанровые особенности

В творчестве Зайцева периода эмиграции преобладают жанры, имеющие документальную основу. Это автобиографические романы и художественные биографии, очерки и литературные портреты, документальные «повести в письмах», литературная критика и публицистика¹. Газетно-журнальная деятельность Зайцева в эмиграции была необычайно активной: он сотрудничал с десятками русскоязычных изданий, выходящих в Берлине, Праге, Риге, Париже.

Дневниковых записей, очерков, заметок, эссе Зайцева несколько сотен. Часть их объединена в циклы. Первый из них, «Странник», начал печататься в берлинской газете «Дни» в 1925 г. И завершился публикациями в парижской газете «Возрождение» в 1929-м. Второй, под названием «Дневник писателя», через три месяца открылся в «Возрождении». Материалы «Дневника...» печатались в этой газете на протяжении трех лет (с 22 сентября 1929 г. по 18 декабря 1932-го). Третья серия дневниковых публикаций под заголовком «Дни» печаталась в разных эмигрантских изданиях с перерывами с 1939-го по 1972 г. Таким образом, Зайцев работал в жанре дневниковых записей в течение всего своего эмигрантского творчества, т.е. на протяжении полувека.

Первая и третья часть дневниковых записей были опубликованы А. К. Клементьевым (Зайцев Б. Странник. СПб., 1994; Зайцев Б. Дни. М.; Париж, 1995). Из двадцати трех глав «Дневника писателя» многократно переиздавались в современной России лишь очерки «Иоанн Кронштадтский» и «Оптина пустынь». Одинадцать глав вошли в Собрание сочинений писателя

¹ Их анализу посвящены, в частности, монографии: Яркова А. В. Жанровое своеобразие творчества Б. К. Зайцева 1922–1972 годов. Литературно-критические и художественно-документальные жанры. СПб., 2002; Степанова Т. М. Художественный мир публицистики русского зарубежья. Борис Зайцев. М., 2004.

(М., 1999–2001), но большая часть глав (а именно: «Бесстыдница в Афоне», «Сын Человеческий», «Памяти погибших», «Вновь на Афоне», «Об интеллигенции», «Итальянский друг России», «„Памяти твоей“ Георгия Пескова», «Флобер в России»², «Русские и французы», «Новые книги Муратова», «Искусство актера», «Старый барин») оставались по-прежнему неизвестными в России. К сожалению, особенности публикации отдельных очерков Зайцева в указанном Собрании сочинений дезориентируют читателя: в раздел под названием «Дневник писателя» (в т. 7, с. 323–426 и в т. 9, с. 35–156) включены работы Зайцева из разных циклов, равно как и не входившие ни в один цикл.

В настоящем издании впервые полностью публикуется текст «Дневника писателя».

Дневниковый цикл Зайцева вписывается в контекст традиций мировой и русской классики. В XIX в., когда дневниковые записи литераторов стали публиковаться, постепенно определились приметы жанра: исповедальность, сочетание документального и художественного начал. Заметным литературным феноменом стал «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского, запечатлевший сплав публицистики и художественного творчества. Его емкая форма позволила совместить очерковые заметки и полемические наброски, критические эссе и мемуарные зарисовки, газетные фельетоны и художественную прозу, проблемные статьи. Автор представал одновременно в нескольких амплуа: критик, рассказчик, комментатор, хроникер.

Дневниковая культура получила широкое распространение в начале XX в. в России. Общая склонность к исповедальности писателей этого времени выражается во всех формах автобиографических жанров — дневниках, письмах, мемуарах, исповедях. Как живой отклик на происходящее создавались мемуарно-публицистические книги Д. С. Мережковского («Было и будет», «От войны к революции»), З. Н. Гиппиус («Литературный дневник», «Живые лица»), М. П. Арцыбашева («Записки писателя»), В. В. Розанова («Опавшие листья»), Ю. К. Олеси («Ни дня без строчки»)

² Не путать с одноименным очерком 1955 г. (Русская мысль. 1955. 10 ноября), представляющим собой совсем другой текст по сравнению с главой «Дневника писателя» 1930 г.

и другие, автобиографизм сочетается в них с широкой наблюдательностью и размышлениями.

В своих записях Зайцев развивает и варьирует разные традиции писательского дневника. Цикл «Странник» (1925–1929) был, в полном соответствии со своим названием, дневником путешественника, он наполнен свежими впечатлениями от «странствий» по уголкам Парижа, поездок в Сен-Клу, Прованс, Бельгию, Берлин. Кроме того, этот цикл был фрагментарен, рождался как записки, не имевшие заголовков (кроме «Ответа Мюллеру»), указывалась лишь дата; в нем доминировали непосредственность, исповедальность.

Новый цикл — «Дневник писателя» — отличался тем, что каждая его часть была уже не случайным штрихом-комментарием к событиям повседневности, но законченным, цельным текстом, имеющим единую тему и заглавие. Название цикла являлось, конечно, отсылкой к одноименному циклу Достоевского, к нему зайцевский весьма близок по типу. Возможно, оно было выбрано не без влияния Н. А. Бердяева, который в журнале «Путь» в 1926–1929 гг. публиковал свои материалы под рубрикой «Дневник философа».

Дневник — наиболее свободная форма, позволяющая автору объединять разные по жанру работы. Материалы «Дневника писателя» образуют несколько жанрово-тематических групп: мемуарные очерки («Иоанн Кронштадтский», «Флобер в России»), литературно-критические статьи («Сын Человеческий», «Виноградарь Жиронды», «Леонов и Городецкая», «Дела литературные»), рецензии («Памяти погибших», «„Памяти твоей“ Георгия Пескова», «Счастье», «История русской души», «Иисус Неизвестный»), публицистические заметки («Бесстыдница в Афоне», «Вновь об Афоне», «Крест»), историко-культурные очерки («Оптина пустынь», «Об интеллигенции», «Русские и французы», «Новые книги Муратова», «Глас Ватикана», «Война»), портреты («Итальянский друг России»), портреты-некрологи («Старый барин»), театральная критика («Искусство актера»). Многие записи вдохновлены прочтением тех или иных книг, но не являются классическими «рецензиями», хотя порой приближаются к ним. Разговор о конкретном произведении или авторе Зайцев неизменно вводит в широкий, мировой политический, исторический, культурный контекст. Мемуарные очерки и литературные

портреты показывают связи человека со своей эпохой. Исследователи определяют своеобразие публицистических жанров у Зайцева термином «лирическая публицистика», находя в ней «синтетичность лирического и информационно-аналитического»³. Но при этом Зайцев «мудро избегает искушения самовыражения, все дары своего таланта он отдает правде, как он ее понимает»⁴.

Дневник художника есть вместе с тем и дневник художественный. Каждая запись являет собой тщательно обработанный, законченный текст, имеет четкую форму, в ней варьируются несколько лейтмотивов. Часто Зайцев использует кольцевую композицию. Зайцевский импрессионизм присутствует и в стиле, и в самом подходе к исследованию художественных явлений, что не раз отмечалось критиками. Рецензии, статьи, заметки Зайцева «отличаются повышенным лиризмом, открытым звучанием авторского голоса, иногда содержат мемуарные фрагменты. Такая свободная форма произведений критики отвечает импрессионистическому методу Зайцева, восходящему к традициям рубежа веков, в частности Ю. И. Айхенвальда и его „Силуэтов русских писателей“»⁵. Образы художников, литераторов, ученых, психология творчества, те или иные явления культуры воссоздаются и постигаются с помощью излюбленного зайцевского метода — вчувствования, лирической рефлексии.

«Творчество Зайцева исключительно цельно, оно обладает таким внутренним единством, что произведения разных жанров не только дополняют друг друга по содержанию, освещению реальности, но подчас трудно выделить грань между разными жанрами и даже группами жанров, — справедливо полагает А. В. Яркова. — Так, например, бывает зыбка грань между публицистическими и художественными произведениями, литературно-критические произведения

³ Степанова Т. М. Художественный мир публицистики русского зарубежья. Борис Зайцев. С. 139.

⁴ Рябинина Н. В. К. Бальмонт в изображении А. Белого и Б. Зайцева // Проблемы изучения жизни и творчества Б. К. Зайцева. Вып. 3. Калуга, 2001. С. 323.

⁵ Яркова А. В. Жанровое своеобразие творчества Б. К. Зайцева 1922–1972 годов. Литературно-критические и художественно-документальные жанры. С. 208.

(рецензия, статья, силуэт, критико-биографический очерк) не только объясняют движение Зайцева к жанру биографии писателя и литературного портрета, но и раскрывают их жанровые особенности»⁶.

На наш взгляд, специфику глав «Дневника писателя» можно определить словом «отклик». Они действительно являются откликами на самые разные события литературной, общественной, религиозной жизни. Объектами авторского осмысления становятся писатели-классики и современные литераторы, философы и ученые, театральные премьеры и выставки в Париже, церковная жизнь и монашество, русская святость и энциклики Папы Римского, положение советской власти, похищение генерала Кутепова, скандальные признания писательницы о посещении мужского монастыря. Части «Дневника писателя» на первый взгляд пестры и разнообразны. Однако «Дневник...» обладает цельностью, и эту цельность придает ему личность автора. Его идеи, концепции, оценки, его мировоззрение и эстетические вкусы остаются неизменными, о каких бы сферах жизни он ни говорил.

«Дневник писателя» Б. Зайцева играет не последнюю роль в истории русской литературы XX в. Он активно участвовал в культурно-общественной атмосфере русской диаспоры и в известной степени формировал ее. На публикации Зайцева откликались писатели и критики, завязывалась полемика. Зайцев принадлежит к тому кругу эмиграции, в чьей деятельности и творчестве осуществлялось активное взаимодействие французской и русской культур: Г. В. Адамович, Н. А. Бердяев, В. В. Вейдле, Г. П. Федотов, Б. П. Вышеславцев. Работы, вошедшие в «Дневник писателя», вносили важный вклад в продуктивный диалог национальных культур, происходивший, в частности, и в рамках Франко-русской студии; последняя являет собой единственный пример живого интенсивного общения французской и русской культур. «Дневник...» дает представление о взаимодействии социальных и этических аспектов католицизма и православия в сознании и творчестве писателя — вслед за Ф. М. Достоевским, В. С. Соловьевым, В. И. Ивановым Зайцев развивает проблематику возможного религиозно-культурного сближения вос-

⁶ Там же. С. 18.

точного христианства с римско-католическим. Наконец, материалы «Дневника...», в которых содержатся оценки книг, затрагиваются вопросы истории литературы, расширяют представление о взглядах Зайцева на итальянскую, французскую и русскую культуры, на современный писателю литературный процесс.

Отражая непосредственную реакцию автора на события русской и мировой истории, писательский дневник Зайцева в то же время послужит ценным историческим и документальным источником для комментирования важных событий в жизни русской эмиграции.

«Россия Святой Руси»

В 1926 г. в Париже вышла книга протоиерея Сергия Четверикова «Оптина пустынь», а в 1929 г. в Белой Церкви — книга о. Василия Шустина «Запись об о. Иоанне Кронштадтском и об оптинских старцах». Эти сочинения послужили поводом к созданию Зайцевым очерков «Иоанн Кронштадтский» и «Оптина пустынь» (они следуют в «Дневнике писателя» друг за другом). Очерки воплощают одну из главных тем в зарубежном творчестве художника — воссоздание России Святой Руси. Оказавшись в 1922 г. в эмиграции, Зайцев открывает «Россию Святой Руси, которую без страданий революции, может быть, не увидел бы и никогда» (9, 17). Отныне свою миссию русского писателя-изгнанника он осознает как приобщение и соотечественников, и западного мира к тому величайшему сокровищу, которое хранила Святая Русь, — православию; как «просачивание в Европу и в мир, своеобразная прививка Западу чудотворного „глазка“ с древа России...» (9, 287).

Специфика очерков Зайцева о святых и подвижниках, а также его книг «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон», «Валаам» — взаимодействие мемуарного и документального пластов. Сопрягаются памятные писателю из детства лица, события, переживания — и вновь открывающиеся ему из современных публикаций документальные свидетельства. Он переплавляет их в единое целое.

Точно так же и в очерке об о. Иоанне Зайцев пересказывает самые впечатляющие свидетельства под-

вижнической деятельности и чудотворений святого, заимствованные им из книги о. Василия Шустина и содержащихся в ней заметок старца Варсонофия Оптинского. Но обрамляет их своими воспоминаниями: во время своей поездки в Калугу в мае 1895 г. «всероссийский батюшка» посетил десятки учебных, духовных и богоугодных заведений, в том числе и реальное училище, где тогда учился Зайцев⁷.

Впоследствии, в автобиографическом романе «Тишина» (1938–1940) Зайцев более детально, на нескольких страницах описывает посещение о. Иоанном училища, реакцию педагогов, священников, учеников. Юноша был «разочарован» этим событием: знаменитый пастырь, «некоторыми считавшийся почти святым», не обратил на него никакого внимания. Однако портрет передан объективно: бледно-голубые глаза, несшие «легкую, поражающую живость, невесомо-духовную», легкость тела, властные руки, высокий, резкий голос (4, 228).

Очерк об о. Иоанне имеет кольцевую композицию: в первых строках подвижник предстает взлетающим по лестнице калужской гимназии, в финале — восходящим уже по небесной лестнице в видении старца Варсонофия. Как и в портретах мирян, Зайцев находит характерные приметы личности, акцентирует их, придает им характер метафоры. Если радонежский чудотворец предстал как «святой плотник с благоуханием смол русских сосен», слегка «суховатый» и «прохладный», а в св. Серафиме подчеркнута ослепительное сияние его личности, «раскаленный свет Любви», то в о. Иоанне — стремительность, легкость и дерзновенность. «Ощущение острого, сухого огня. И малой весомости. Будто электрическая сила несла его». «Смел, легок, дерзновен».

Под впечатлением от упомянутых книг С. Четверикова и В. Шустина и по свежим следам событий в СССР (в 1923 г. была закрыта Оптинская обитель) Зайцев написал очерк-эссе «Оптина пустынь». Описания внешнего вида монастыря, переезда на пароме, облика старца Амвросия и паломников опираются на

⁷ Зайцев допускает случайный или намеренный анахронизм: он рисует обстановку калужского реального училища, которое в действительности посещал о. Иоанн, но называет его «гимназией», а учеников — «гимназистами».

эти издания, но Зайцев фокусирует отдельные факты, вводит свои детские воспоминания. Благодаря этому возникает ощущение живости и естественности, граница между документом и авторским повествованием стирается.

Духовный путь Бориса Зайцева отмечен характерной особенностью: его детство, юность прошли вблизи величайших святынь русского православия, но он оставался вполне равнодушен к ним. Зайцев несколько лет жил неподалеку от Оптиной пустыни, но ни разу не побывал в ней; часто проезжал в имение отца через Саровский лес, но Саровская обитель не вызвала у него никакого интереса. И только в эмиграции, навсегда лишенный возможности поклониться этим святым местам, Зайцев постигает их великое духовное значение и в своих очерках пытается воскресить их в памяти, посетить их хотя бы в мыслях. Такое «мысленное паломничество» становится характерным приемом Зайцева в очерках о святынях Руси.

Очерк «Оптина пустынь» проникнут любовью и благоговением к великим оптинским старцам. Зайцев размышляет о том, как могло бы протекать его путешествие в Оптину в конце прошлого века, представляет в воображении свою встречу со старцем Амвросием — человеком, «от которого ничто в тебе не скрыто»: «Как взглянул бы он на меня? Что сказал бы?» Зайцев задает себе вопрос, смог ли бы он отдаться целиком в его волю: «...я должен безусловно, безоглядно ему верить — это предполагает совершенную любовь и совершенное пред ним смирение. Как смириться? Как найти в себе силы себя отвергнуть? А между тем это постоянно бывает и, наверно, для наших измученных и загрязненных душ полезно...» Зайцев преклоняется перед безмерной любовью старца к людям, «расточавшего», «раздававшего» себя, «не меряя и не считая». Старец Амвросий, как и другие оптинские старцы, «в противоположность о. Иоанну Кронштадтскому... вполне далеки от экстаза и нервной экзальтации. Спокойная и кроткая любовность — основа их».

Завершается очерк скорбными словами о разрушении и запустении Оптиной в годы «новой татарщины». Но Зайцев никогда не считал, что Святая Русь погибла окончательно, и верил в ее грядущее возрождение. Провидческими оказались строки о том, что Оптина ушла «на дно таинственного озера — до времени».

К теме Оптиной Зайцев обратился спустя 30 лет, написав очерк «Достоевский и Оптина пустынь» (1956), носящий в большей степени популяризаторский характер. В нем развивается мысль о том, что Оптина стала духовно-культурным центром, «оказалась излучением света в России XIX века», и рассказывается о поездке Достоевского к о. Амвросию в 1878 г. Зайцев подчеркивает, что великая русская литература в лице Гоголя, Толстого, Достоевского, Леонтьева и других «шла к гармонии и утешению на берега Жиздры», в Оптину. «Встреча с Оптиной Достоевского, кроме озарения и утешения человеческого, оставила огромный след в литературе. „Братья Карамазовы“ получили сияющую поддержку. Можно думать, что и вообще весь малый отрезок жизни, отданный целиком „Карамазовым“, прошел под знаком Оптиной» (7, 393).

В творческом проекте Зайцева, который можно озаглавить «Россия Святой Руси», занимают место отклики на появляющиеся книги, непосредственно связанные с русским православием. Как всегда, написанные в свободной форме, они неизменно включают религиозно-философские размышления и самого Зайцева. <...>

«Счастье» — глава «Дневника писателя», посвященная знаменитой книге «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Книга впервые была издана в 1881 г. И впоследствии неоднократно переиздавалась. Зайцев познакомился с этим выдающимся памятником духовной литературы только в Париже, когда издательство «УМСА-Press» выпустило ее с предисловием Б. П. Вышеславцева.

Первая половина рецензии — изложение главных моментов, пересказ некоторых сцен. Затем Зайцев переходит к разговору о собственно литературных, художественных особенностях текста. Он отмечает дар рассказчика, умение воссоздать словом «Божий мир, необычайно широкий, вольный». Задача, которую пыталась решить русская классика, создание образа «положительно прекрасного человека», воплощение христианского идеала в литературном произведении, всегда привлекала внимание и Зайцева. Он усматривает в «Откровенных рассказах...» удачное осуществление этой задачи, воплощение «просветленно-приветственного взгляда на мир», присутствия духовной реальности.

Мысль о неуничтожимости «Святой Руси» Зайцев повторял многократно, и именно тогда, когда факты убийств, террора, разрушения, разгул «стихий дьявольской», наполняющей советскую Россию, говорили, казалось, об обратном. Книга Странника вселяет в Зайцева надежду на то, что и сегодня есть старцы, молящиеся за Русь. Эту надежду выражает концовка рецензии: «И тем не менее... если возможно счастье, видениерая на земле: грядет оно лишь из России. Не знаем нынешних ее странников, святых, страдальцев — за дальностью туманов и пространств. Но никто меня не убедит, что в подземных рудах родины не таятся те же, о, все те же „самоцветные камни“... (Вопреки всему! Вопреки ужасу — верю.)»

Публицистика как духовное оружие

Нередко Зайцева воспринимают как «кротчайшего», «блаженного», умиротворенного художника, видят в нем лишь лирика, тонкого эстета, «тишайшего» акварелиста. Христианство его называли «розовым», не воинственным. О том, что это было совсем не так, свидетельствуют публицистические выступления художника. Узнавая о проявлениях зла в мире, Зайцев бескомпромиссно обличает гонителей и преступников, вступает за страдающих. Столь несвойственные, казалось бы, Зайцеву, открыто негодующие и обличительные интонации особенно ярко проявились именно в «Дневнике писателя» — в заметках «Бесстыдница в Афоне» и «Крест».

С конца 1920-х гг. образ Афона надолго привлек внимание Зайцева. Паломничество на Святую гору в мае 1927 г. Зайцев считал впоследствии providенциальным, важнейшим событием в своей биографии. Итогом поездки стала книга «Афон» (Париж, 1928), которую заключают строки: «В своем грешном сердце уношу частицу света афонского, несу ее благоговейно, и что бы ни случилось со мной в жизни, мне не забыть этого странствия и поклонения, как, верю, не погаснуть в ветрах мира самой искре» (7, 146). Частица афонской святости действительно бережно сохранялась Зайцевым всю жизнь. Но не только Афон дал нечто драгоценное художнику. В творческой биографии Зайцева есть еще одна чрезвычайно интересная страница, когда

ему, обычно смиренному и благодушному, пришлось вступить в открытый бой, защищая Афон.

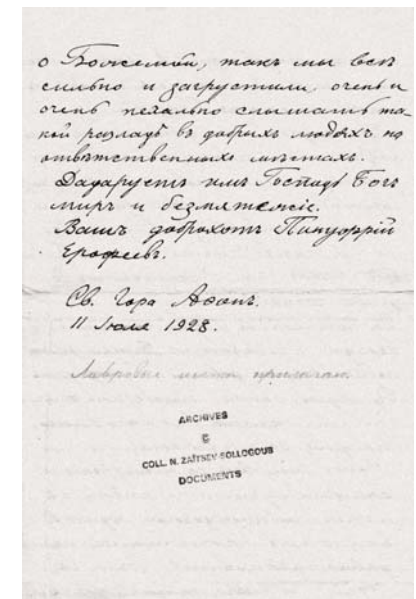
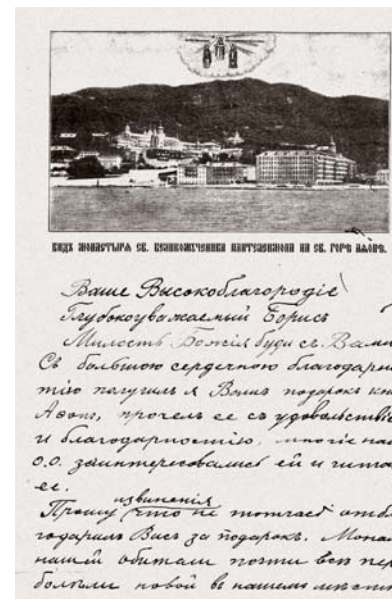
«Монастырская» тематика демонстрирует своеобразную эмоциональную окраску публицистики Зайцева, которую можно определить как смиренная непреклонность. Казалось бы, публицистический жанр менее других приспособлен для проявления христианских настроений. Большею частью публицисты самоуверенно и напористо судят мир. Зайцев, откликаясь на злобу дня, не судит никого, но созерцает. События окружающей жизни он высвечивает вечностным светом. В статьях и заметках Зайцева смирение по-прежнему выступает как отказ от гордыни и самоутверждения; в центр ставится не личность автора, но Божественная воля. Вместе с тем смирение — «меч» в борьбе с грехом и человеческими страстями. Эта особенность «духовной публицистики» проявилась и в заметке «Бесстыдница в Афоне», непосредственно касающейся монашеской жизни.

Спустя два года после поездки Зайцева на Афон в Париже вышла в свет книга Маризы Шуази «Месяц среди мужчин» (1929), в которой она утверждала, что ей якобы удалось, переодевшись в мужское платье (пребывание женщин на Афоне запрещено), проникнуть на Афон и познакомиться с тамошней жизнью. Шуази глумилась над православием, афонскими монастырями, причем особую неприязнь у автора вызывали русские монахи. Для доказательства подлинности поездки к книге была приложена фотография Шуази на фоне монастырей.

Из слов Зайцева о «некоей Шуази» следует, что это имя было ему неизвестно. Личность же ее весьма неординарна. Французская писательница и философ Мари-за Шуази была последовательницей Зигмунда Фрейда. Увлечшись психоанализом, она стремилась ввести его элементы и в свои романы, чтобы придать большую глубину характерам. Она основала движение, которое назвала «сюридеализм», тесно общалась с французским писателем Жозефом Дельтеем, которому посвятила очерк. Создавая свои книги, Шуази погружалась в ту действительность, которую хотела познать и описать. Трудно судить, насколько можно верить ее заверениям, что она провела месяц в публичном доме при подготовке книги-репортажа «Месяц среди девиц» (1928): Зайцев доказал, что ее поездка на Афон — вымысел.

В заметке «Бесстыдница в Афоне», открывающей цикл «Дневник писателя», он свидетельствует, что описания Шуази ничего общего не имеют с увиденной им монастырской жизнью и, не теряя своего смирения, вступает в мужественную, бескомпромиссную борьбу со злом. При этом он выражает подлинно христианский взгляд на присутствие зла в мире: «...разумеется, это допущено. <...> Значит, для чего-то это надо. Не для того ли, для чего вообще допущена свобода зла? Шуази не одинока. Напротив, зло лезет изо всех щелей, и Бог допускает зло. Ибо свободно должен человек и бороться со злом. Борьба идет, г-жа „писательница“, по всему фронту!»

Здесь мы встречаемся, быть может, с пиком негодования Зайцева: «...книжка разжигает на борьбу, молодит. Мы с автором ее из разных лагерей. не можем щадить друг друга. „Их“ больше. „Они“ богаче. Давая пищу злу, низменным вкусам и чувствам, они успевают житейски. Их клеветы оплачиваются иудинными сребрениками. „Нас“ меньше и „мы“ беднее. Но как бы ни были мы неказисты и малы личными своими силами, мы во веки веков сильнее „их“», потому что за нами Истина. Вот это скала, Шуази! Ничем вы ее не подточите. Она дает нам силы жить, питает



Фрагмент письма монаха Пинуфрия Б.К. Зайцеву. 11 июля 1928

и одушевляет наше слово и наше перо. Наше негодование, как и наша любовь, непродажны...»

Показательна концовка, где точно расставлены акценты: Зайцев обличает зло, но не человека. Даже явного клеветника он не берется осуждать, предваряя суд Божий, и надеется на возрождение души даже и завязтого врага православия, приглашая его к покаянию: «В вашем лице клеймлю зло. Но как был бы я счастлив, если бы вы вдруг устыдились того, что написали — если бы чистосердечно признались в своей неправде, в содеянном вами дурном деле... Вряд ли это случится. Впрочем, кто знает. Судьбы наши загадочны».

Эта, казалось бы, совершенно утопическая надежда удивительным образом оправдалась. Вскоре после пика своего «сюридеалистического» творчества (особенно плодотворным оказался 1930 г., когда вышли ее книги «Дельтей совсем голый», «Корова в душе», «Любовь в тюрьмах») Шуази переживает религиозный переворот, в результате которого она начинает скупать и уничтожать тиражи выпущенных ею книг. Она призналась, что написанное ею не удовлетворяет трем критериям Сократа: правда, полноценность и доброта. Шуази всецело посвятила себя психоанализу, который, как она полагала, должен внести свой вклад в человеческое счастье, и написала ряд трудов по этой теме. Историю своего обращения она изложила в книгах «Сказки для моей дочери и для других» (1946), а также «На пути к Богу вы сначала встречаете дьявола. Воспоминания, 1925–1939» (1977).

Про ревностную защиту Зайцевым святогорцев узнали на Афоне. Игумен Пантелеймонова монастыря о. Мисаил, получив фотографию Шуази, сообщил Зайцеву, что такого человека никогда не было на Афоне, а фото — поддельное. В знак благодарности и благоговения он прислал писателю икону Иверской Божией Матери с надписью: «За защиту поруганного Афона» и образ Св. Пантелеймона. Об этом Зайцев не преминул упомянуть в дневниковой заметке «Вновь об Афоне». <...>

Полемика о роли интеллигенции

В «Дневнике писателя» Зайцев вступает в полемику по поводу одного из самых больных и обсуждаемых вопросов русской истории XIX–XX вв. — о роли

интеллигенции. Как всегда, повод для разговора — публикация, на этот раз — статья русского писателя И. С. Лукаша в «Возрождении», посвященная самому Зайцеву, где Лукаш обличает интеллигентных героев его раннего, дореволюционного творчества. Поводом для статьи «Новый Зайцев» послужил выход в 1929 г. сборника «Избранное», куда Зайцев включил и свои ранние рассказы⁸.

Предметом анализа и жесткой критики стал тип зайцевского героя, которого Лукаш определил как «интеллигента в кавычках». Оценки Лукаша были бескомпромиссны: «тусклый человек, томительно-теплокровная фигура», «последыш лишних людей», «ненужный человек». Типаж, выведенный Зайцевым, противопоставлен Лукашем подлинной интеллигенции — «волевой и творческой элите народа».

Говоря о «борьбе Зайцева со своим литературным временем», Лукаш попытался выявить новый, прикровенный план раннего творчества художника. Он приводит, в частности, ироничные реплики Зайцева по поводу «русского интеллигента, гражданина Арбата» в эссе «Улица Св. Николая». Однако же в целом тональность Зайцева в этом эссе скорее сочувствующая, он обращается с призывом к своему собрату: «Будь спокоен, скромн, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных» (2, 329). Нелицеприятные оценки в этом эссе дополняются чувствами покаяния, смирения — эти настроения своего пореволюционного творчества сам Зайцев определял так: «некий суд и над революцией, и над тем складом жизни, теми людьми, кто от нее пострадал. Это одновременно и осуждение и покаяние — признание вины» (4, 590).

Но в ранних своих рассказах Зайцев не ставил таких задач. Статья Лукаша — типичный пример критики «по поводу», критики внешней по отношению к субъективному авторскому замыслу. Характеры, сюжеты, типы — лишь отправная точка для собственных историко-социальных построений и жестких, как приговор, оценок. Свое восприятие героев Лукаш пытается приписать автору: «Едва скрывааемым презрением к тусклым „интеллигентным“ фигурам полна

⁸ См.: Зайцев Б. Избранные рассказы. 1904–1927. Белград, 1929

книга Зайцева — презрением и жестокой иронией». Эти слова несправедливы: сам Зайцев любил своих безбытных и беззаботных «странников».

В ответе Лукашу в «Дневнике писателя», озаглавленном «Об интеллигенции», Зайцев вступает и за своих героев, и за русскую интеллигенцию. Просвещенный слой, по его словам, хотя и не был лишен слабостей, нес много хорошего, «умственное, духовное и артистическое творчество очень высоко стояло в этом слое».

Одним из главных качеств интеллигента Зайцев всегда полагал бескорыстность. Тип раннего зайцевского героя — путник, странник, одинокий, мало привязанный к плоти земли с ее житейскими заботами. Неповторимо смиренный художественный мир Зайцева населен столь же своеобразными персонажами, людьми не от мира сего (Христофоров, столь раздражающий Лукаша, — едва ли не самый показательный пример). «Блаженные», «странники» всегда были близки Зайцеву, к этому же ряду относит он и русскую интеллигенцию рубежа веков.

Писатель возражает критику решительно, вступаясь за выпестованных им персонажей и призывает увидеть их безусловно достойные качества: «Нельзя забывать сотен разных незаметных земских врачей, чеховских фельдшерниц, безмолвных, но погибавших на эпидемиях, ведших жизнь истинно подвижническую. А учителя, учительницы?»

Но и характер, и роль интеллигенции, оказавшейся в эмиграции, стали существенно иными по сравнению с дореволюционной Россией. Зайцев подчеркивает очень важную для него мысль: интеллигенция стала главным оплотом веры в эмиграции, да и в катакомбах России. Если прежде опорой православия был народ, то теперь ситуация кардинально изменилась: «Замечательно, что интеллигенция того времени была антиправославна, с церковью почти связи не имела, а в жизнь христианские чувства несла. Противоречием было и то, что во многом она большевизм подготавливала, от большевизма же и приняла наибольшее гонение». Казалось бы, это совершенно те же идеи, что выражал страстно в своих книгах, например, ближайший брат Зайцева по перу православный писатель И. С. Шмелев. Но тон у Зайцева, в отличие от Шмелева, не обличающий, а понимающий, сочувственный.

Негативные стороны образованного круга он расценивает не как роковые и непреодолимые пороки, но как «слабости». Итог по-зайцевски лапидарен: «...страдания интеллигенции в революцию, и сейчас продолжающиеся, все искупают. За грехи заплачено кровью, золотым рублем. Поздно вновь тащить на крест то время».

Эта позиция Зайцева была неизменна. В очерках, написанных в годы революции, катастрофические события он расценивает как итог предшествующего исторического процесса, возмездие за «распущенность, беззаботность... И маловерие», за самоупоенные разглагольствования, когда страна стояла на краю исторической катастрофы: «Много нагрешил ты, заплатил недешево» (2, 329).

Зайцев вводит творчество русской интеллигенции (в частности, литературу) в мировой культурный контекст, сопоставляет его с французской литературой, находя объединяющее их начало — серьезность, высоту идей. Но характерно: интеллигенция остается чисто русским явлением, Зайцев тонко чувствует слово и поправляет сам себя: «Во Франции интеллигентность или, точнее, интеллектуальность гораздо большее место заняла, чем в других странах, более уважается и дает лучшие плоды». Осознавая понятие «интеллигент» как специфически русское, Зайцев отделяет его от понятия «интеллектуал», обозначающее человека умственного труда. И приветствует то, что насквозь позитивистский французский интеллектуализм быстро приходит в соприкосновение с христианством.

Спустя две недели в «Возрождении» появилась ответная реплика Лукаша под названием «Путаница» — критик имеет в виду путаницу в понятиях,



*Б. К. Зайцев и И. С. Лукаш
на чествовании И. А. Бунина
в редакции газеты «Возрождение».
Париж. 16 ноября 1933*

которую допускает Зайцев: Лукаш вовсе не уничтожал тот слой интеллигентного (без кавычек) общества, за который вступился его оппонент. Однако же тип интеллигента в кавычках, по мнению Лукаша, не заслуживает похвал, расточаемых Зайцевым: все «сложности» и «духовные утонченности» на самом деле были только «пошлыми толками умственной черни о последних модах».

Явное раздражение Лукаша вызвали и мысли Зайцева о том, что в эмиграции интеллигенция стала носителем христианства. Эту «привилегию на христианство» Лукаш решительно оспаривает. Вторая половина статьи «Путаница» (даже превышающей по объему статью Зайцева) — краткий очерк происхождения и эволюции русской интеллигенции. В отличие от нигилистически настроенной «умственной черни» — порождения эпохи 1860-х гг., подлинные носители российской просвещенности — «это духовная эманация народа, его интеллект, его воля, разум, действие и творчество, его гений», — полагает Лукаш.

Эта полемика не помешала двум писателям сохранить дружественные отношения и высоко ценить таланты друг друга. В 1940 г. Зайцев, призывая, в числе других, помочь больному Лукашу, так отозвался о его творчестве: «И. С. Лукаш несет в облике и писании своем широкое, теплое и доброе дыхание России. Сын настоящей российской литературы, вольной и бедной, вышедшей из самых высоких источников русского духа, — в изгнании независимо и непримиримо держит он свой путь»⁹. <...>

Дневник писателя

⁹ И. С. Лукаш болен // Возрождение. Париж. 1940. 10 мая. №4235.

Бесстыдница в Афоне

Мариза Шуази, французская «писательница», с целью наблюдений поступила в дом терпимости. Пробыла в нем сколько-то и выпустила книжку «Месяц у девиц». Что она там делала, я не знаю. Книжки не читал и даже не уверен, жила ли она действительно в таком учреждении. Теперь ей пришла мысль: нельзя ли также побывать «у мужчин»? Она прознала, что вот есть одно странное место — Афон, полуостров, населенный монахами, куда не пускают женщин. Нельзя ли туда забраться и выудить «острый» репортаж? В только что прочитанном мною томике «Un mois chez les hommes» она описывает свое путешествие, якобы совершенное по Афону.

Она попала туда, переодевшись мужчиной, с подлож-

ным паспортом, купленным за 10 000 драхм на имя слуги одного итальянца, при котором она и находилась. Шуази со своим спутником будто бы высадились в Кавале, там сейчас же отправились в публичный дом, где одна из девиц указала им крестьянина, который взялся доставить их



Бесстыдница в Афоне

Возрождение. Париж. 1929. 22 сент. № 1573.

«Месяц у девиц», «Месяц у мужчин» — книги М. Шуази «Un mois chez les filles» (Paris: Montaigne, 1928) и «Un mois chez les hommes» (Paris: Editions de France, 1929).

на Афон и быть там проводником. «Писательница» описывает, как она сделала себе операцию (вырезание груди), какие приняла непристойные меры, чтобы сделать свое тело мужским, как, наконец, ее зашили в матрас, который вез с собой тот итальянец; как она лежала в этом матрасе во время переезда на моторе из Кавалы в Ватопед, с кислородной маской на лице, как ее выгрузили в Ватопеде и оттуда она попала в Карею, начала свое «Афонское путешествие».

Чувствуя, что ей не поверят, она приложила к книжке две фотографии: «Мариза Шуази, переодетая молодым слугой, на улице Кареи» и она же — перед Ватопедом. Фотографии эти — грубая подделка, сейчас же бросающаяся в глаза: снято, конечно, не с натуры, а с рисунка. Приложена также бесстыдная открытка писателю Ж. Дельтею с почтовым штемпелем Св. Горы — очевидно, написанная заранее и кем-то, бывшим на Афоне, в Карее, брошенная¹.

Судя по всему, Шуази «современная» женщина. И не захолустная, а ультрапарижская. Рекламно подчеркивает она свою близость с Дельтеем. Знает, кто такой Кокто (и даже Маритэн!). Вероятно, заседает на Монпарнасе — в «Доме» или «Ля Куполь». Не удивлюсь, если в один прекрасный день она обратится, на манер Кокто, в католицизм, но пока что ее философия такова, что в жизни есть две вещи: «церковь и публичный дом». Насчет церкви — для снобизма: среди молодых

¹ Я предполагаю, что на Афоне был кто-нибудь из знакомых г-жи Шуази. Вероятно, он кое-что ей рассказал, остальное (фактическое) она могла прочесть в двух-трех книжках, в том числе и в моей — и «размалевала» по своему рецепту. Я навожу теперь справки на Афоне, кто был там в указанное время. — Б.З.

Шуази (Choisy) Мариза (1903–1979) — французская писательница и философ. Автор книг «Дельтей совсем голый», «Корова в душе», «Любовь в тюрьмах» и др.)

Дельтей (Delteil) Жозеф (1895–1978) — французский писатель. Создал тип литературного лубка, в котором своеобразно и не без нарочитой наивности пользовался бытовым и историческим материалом, прибегая к анахронизмам

и переплетениям фантастических образов с историческими событиями.

Кокто (Cocoteau) Жан (1889–1963) — французский писатель, художник, театральный деятель, киносценарист и режиссер.

«Дом», «Ля Куполь», «Жокей» — кафе, расположенные на бульваре Монпарнас, в которых собиралась литературная и художественная публика.



Мариза Шуази

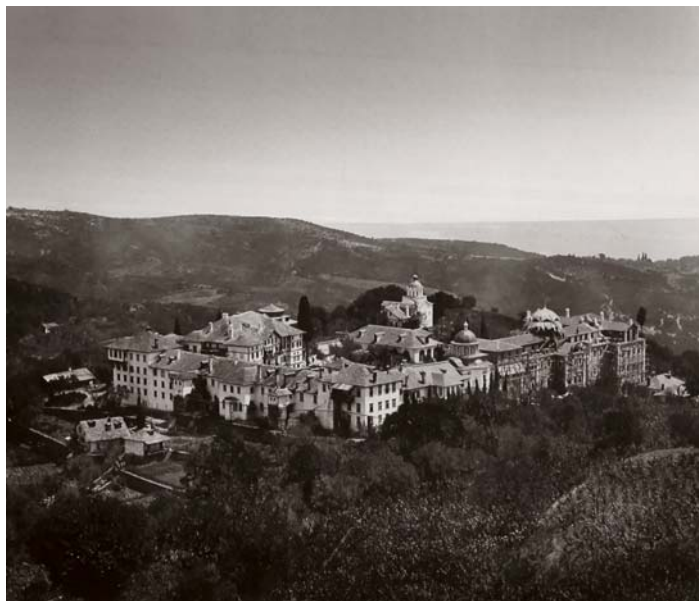
парижских извращенцев это сейчас довольно модно. О публичных домах осведомлена она прекрасно, и вся книжка, где упоминается, однако, и Бергсон, и Эйнштейн, и Спиноза, пропитана ароматом этих мест.

* * *

Странным образом ее путешествие в некотором роде совпадает с моим, с тою разницей, что я писал правду и действительно путешествовал, а она не путешествовала и, за исключением того, что крупными взяла из книг, просто наклеветала.

Из Кареи, где увидела она какие-то «стены черного гранита» и заметила, что в лавках продают «маленькие непристойные кипарисы», вырезанные на деревянных столовых ложках, Шуази попадает в Андреевский скит (русский). Тут ее поражает запах жасмина (о котором я писал в «Афоне» достаточно). На этом жасмине и кончается правда об Андреевском ските — все остальное ложь.

Если бы она с итальянцем своим действительно была там, то тишайший игумен отправил бы их в гостиницу (на «фондарик»), словоохотливый фондаричный поил бы их чаем и угощал бы чем мог, уложил бы спать в номерах, где никаких клопов нет (ибо нет почти посетителей).



Афон. Русский Андреевский скит

И никаких «келий» они не видели бы, а просто бы спали на обычных жестковатых монастырских постелях. Но ей нужны острые ощущения — «первая ночь среди мужчин» — ее, видите ли, кладут спать с монахами, в какую-то полную клопов «келью».

Появляется, конечно, «un povise»², — русский, вроде князя, бывший шофер. Тут «ключ позиции» — надо опакостить Афон. Г-жа Шуази не может уже забыть этого «порочного» взгляда княжеского, и хотя на другой день они едут в Симонопетр, к ночи она опять уговаривает итальянца вернуться в Андреевский скит. Тут происходят уже вполне несообразные вещи. Вычитав где-то (думаю, и в моей книжке) о гробницах афонских, она заставляет «князя» с порочными глазами вести ее в такую гробницу. Там, разумеется, флирт, причем она привлекательна для «князя» потому, что он считает ее за мужчину. Он громит женщин, потом они нежничают у подоконника, он распахивает окно, светит луна, и при луне они видят любовь двух мулов.

Что они похожи на скотов, это меня не удивляет. Но желал бы я знать, как это он показывал ей вечером

² Послушник (фр.).

черепи и кости в гробнице, где и освещения-то вообще никакого нет?

Тяжело выписывать дальнейшие гнусности — я опускаю их — все это так убого, до того «смердит», что просто само разоблачает себя.

* * *

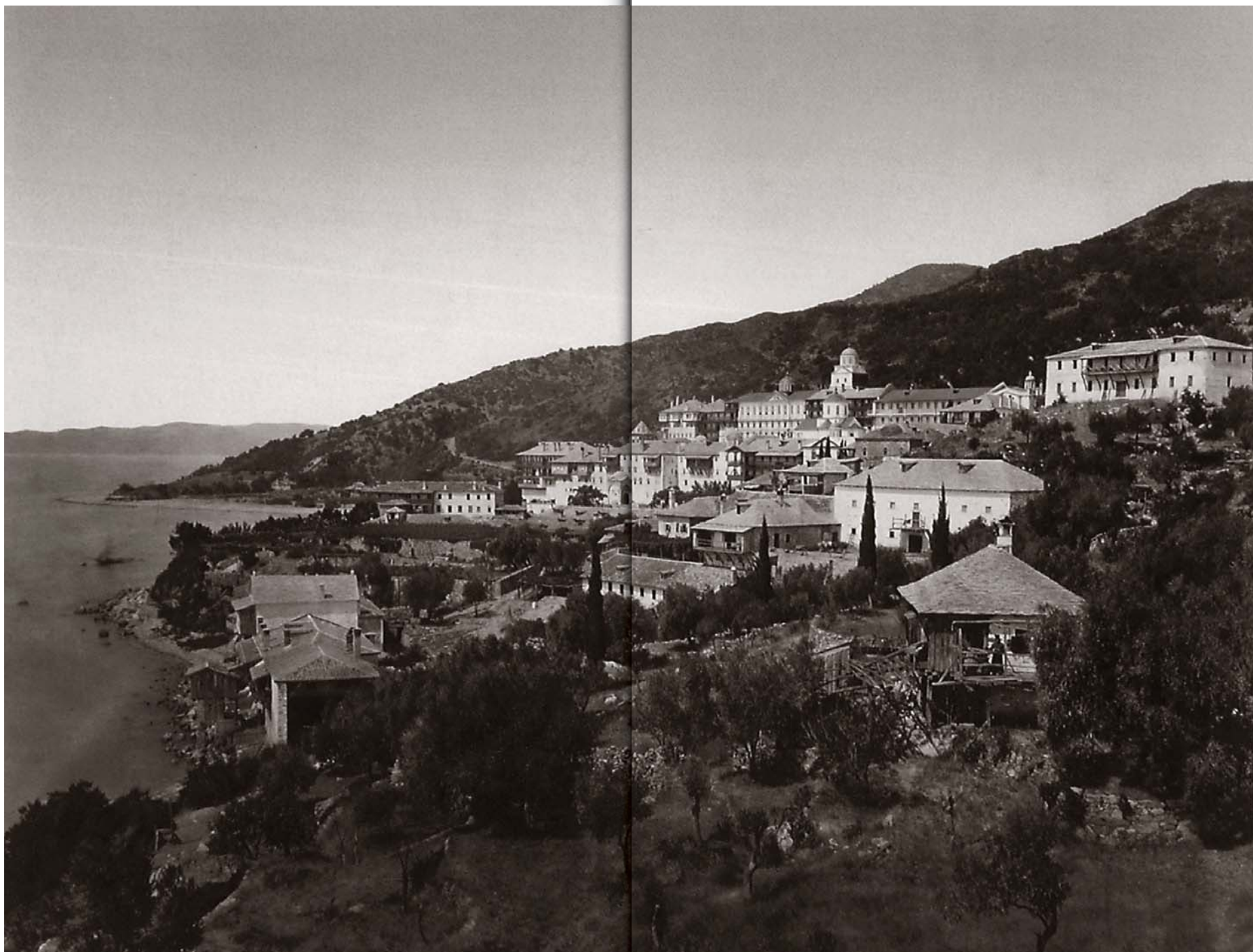
Я пробыл на Афоне семнадцать дней и посетил не менее десяти монастырей. Шуази утверждает, что была месяц. Сколько можно увидеть на Афоне за месяц и о скольком рассказать! Но наша «писательница» ничего не видела. Ни капли афонского воздуха не зачерпнула, ни одной живой черты не вынесла. (В ее книжке вообще нет жизни: она развратна и мертва.)

После Андреевского скита Шуази совсем иссыкает. Вот она в Пантелеймоновом монастыре (путь как раз мой). И если в Андреевском скиту я претендую на жасмин и гробницу, то в монастыре Св. Пантелеймона готов был бы кое-где просто получить ее гонорар, если бы не отвращение ко всей этой дьявольской карикатуре на мои слова. Бесстыдница довольно верно передает мои цифры о числе ежедневных поклонов монахов рясофорных, манатейных и схимников, и тут же о св. целителе Пантелеймоне прибавляет: «Я не знаю, был ли он педерастом. Но на всех портретах у него взгляд юной девушки». Описание страданий св. Пантелеймона — почти пересказ моего, всюду сдобрено лишь издевательствами.

Монастырь Св. Пантелеймона (в действительности полный стариков, там почти вовсе нет молодежи) — для нее полон порочных юношей. Монахи (в действительности работающие не покладая рук, выстаивая длиннейшие ночные службы) — для нее бездельники, часть из них бывшие преступники и т. п. Ничто не пристыжает Шуази: ни бедность монастыря, ни гостеприимство обитателей (это даже она отмечает — в Андреевском скиту), ни возраст их.

И замечательно, что больше всего она глумится над русскими — как над более беззащитными и более бедными. Греков трогает меньше, хотя русские монастыри, конечно, выше по духу греческих.

Отвергает она и православие вообще (не имея о нем никакого понятия). Сочувственно повторяет «мнение» Таро, что оно недалеко ушло от ислама (?). Кроме того, полагает, что православие — «политика» — и думает,



Афон. Монастырь Св. великомученика и целителя Пантелеимона

что держалось оно в России лишь царизмом. Как только режим пал, рухнуло в России и православие — таким образом здесь оказывается Шуази уж совсем заолустною невежей, ухом даже не слыхавшей о расцвете православия именно сейчас, о мученичестве, исповедничестве его в России, о питательной его силе в эмиграции, о начинающемся влиянии православия на западные исповедания и т.п. У католиков она признает хоть культуру и наличие просвещенных людей (вероятно, Кокто для нее столп католицизма!). В православии все зачеркивается. Слышала она что-нибудь о Владимире Соловьеве? О Бердяеве, Булгакове и других современных русских религиозных философах? Понятно, ничего. В монпарнасских кафе об этом не рассуждают. Так как писать ей более не о чем — то приходится целую большую главу отводить гаерским жизнеописаниям святых. (Несколько слов о Ватопеде не в счет — там замечательно лишь по развязности сравнение себя с императрицей Галлой Плацидией — женщиной действительно крупной и удивительной.)

И на Монмартре, и на Монпарнасе (в «Жокее») мне приходилось видеть кощунства над самым таинственным и великим в христианстве — над литургией. Делают это обычно проститутки. Иногда и мужчины-куплетисты. Удивлял меня всегда их искренний пафос. Они действительно ненавидят святыню. Мстят они за свое убожество? Зависть тут? Кто знает, но злоба искренняя, как искренняя она и у российских современных безбожников. Упражнения г-жи Шуази по части афонских святых более проникнуты глумлением, чем злобой, она везде вообще старается веселить, забавлять своей раек... Но как и в «Жокее» — никогда весело не получается. (Св.Иоанн Кукузель, нежнейший поэт и музыкант Господень, для нее un type rigolo³, тенор византийской оперы... и все в этом духе — rigolo, rigolo.

* * *

Надо сознаться: трудно читать эту книжку. Она утомляет душу, как-то загрязняет, будто часами сидишь в зловонном месте. Она потрясает и чувствами гнева, ею вызываемого, почти ярости. Нападает также ужас за женщину. Ведь это все-таки женщиной

³ Тип весельчака, шутника (фр.).

написано! Что, если такие вещи написала бы моя дочь, сестра, жена? Ведь я не привожу десятой доли пако-сти, разлитой на этих страницах. Правда, г-жа Шуази, видимо, больная, несколько помешанная на эротике, и к ее размышлениям, напр<имер>, о любви у клопов, надо относиться клинически. Но все-таки, все-таки... она женщина и совершенно лишена стыда. Если такова «современная» французская женщина (верю, что нет) — то не с чем поздравить французов.

Но книга производит и другое действие.

В одном месте автор утверждает, что, очевидно, Бог хотел, чтобы она попала на Афон, а если бы не хотел, то мог бы всячески ей помешать (следуют примеры, среди них и непристойные). Да, тут она права. Не то чтобы путешествие (в которое я не верю), но факт появления книжки — разумеется, это допущено. Легкого дуновения было б достаточно... Значит, для чего-то это надо. Не для того ли, для чего вообще допущена свобода зла? Шуази не одинока. Напротив, зло лезет изо всех щелей, и Бог допускает зло. Ибо свободно должен человек и бороться со злом. Борьба идет, г-жа «писательница», по всему фронту!

Странно, но чувствую: жалкая эта книжка и для меня самого как-то нужна. Она действует на меня возбуждающе. Первое: из-за нее я живее вспоминаю свое весеннее путешествие по Афону, красоту и поэзию тех мест, майских кукушек в лесах, желтые дроки по обрывам, розы в монастырях, скромность, приветливость и доброту монахов, возвышенность церковных служб, тишину собственной души. И я острее испытываю благодарность за то, что все это я видел и пережил, а теперь свидетельствую против хулителя. А вот второе: книжка разжигает на борьбу, молодит. Мы с автором ее из разных лагерей. Мы не можем шадить друг друга. «Их» больше. «Они» богаче. Давая пищу злу, низменным вкусам и чувствам, они успевают житейски. Их клеветы оплачиваются иудинными сребрениками.

«Нас» меньше и «мы» беднее. Но как бы ни были мы неказисты и малы личными своими силами, мы во

...императрицей Галлой Плацидией... — Галла Плацидия (389–450) — дочь римского императора Феодосия I Великого и сестра императоров Аркадия и Гонория,

жена полководца Констанция, затем регентша при семилетнем сыне Валентиниане, коронация которого состоялась в 425 г.

веки веков сильнее «их» потому, что за нами Истина. Вот это скала, Шуази! Ничем вы ее не подточите. Она дает нам силы жить, питает и одушевляет наше слово и наше перо. Наше негодование, как и наша любовь, непродажны, и вот, повторяю, я даже рад, что ваша книжка ясней дала мне почувствовать, с кем я, в чьем стане — взволновала, обострила...

Я думаю, что до вас мои слова дойдут. Боюсь, что вы совсем утратили способность стыдиться, краснеть. Лично я вас не знаю и не желаю знать. В вашем лице клеймлю зло. Но как был бы я счастлив, если бы вы вдруг устыдились того, что написали — если бы чистосердечно признались в своей неправде, в соделанном вами дурном деле...

Вряд ли это случится. Впрочем, кто знает. Судьбы наши загадочны.

Иоанн Кронштадтский

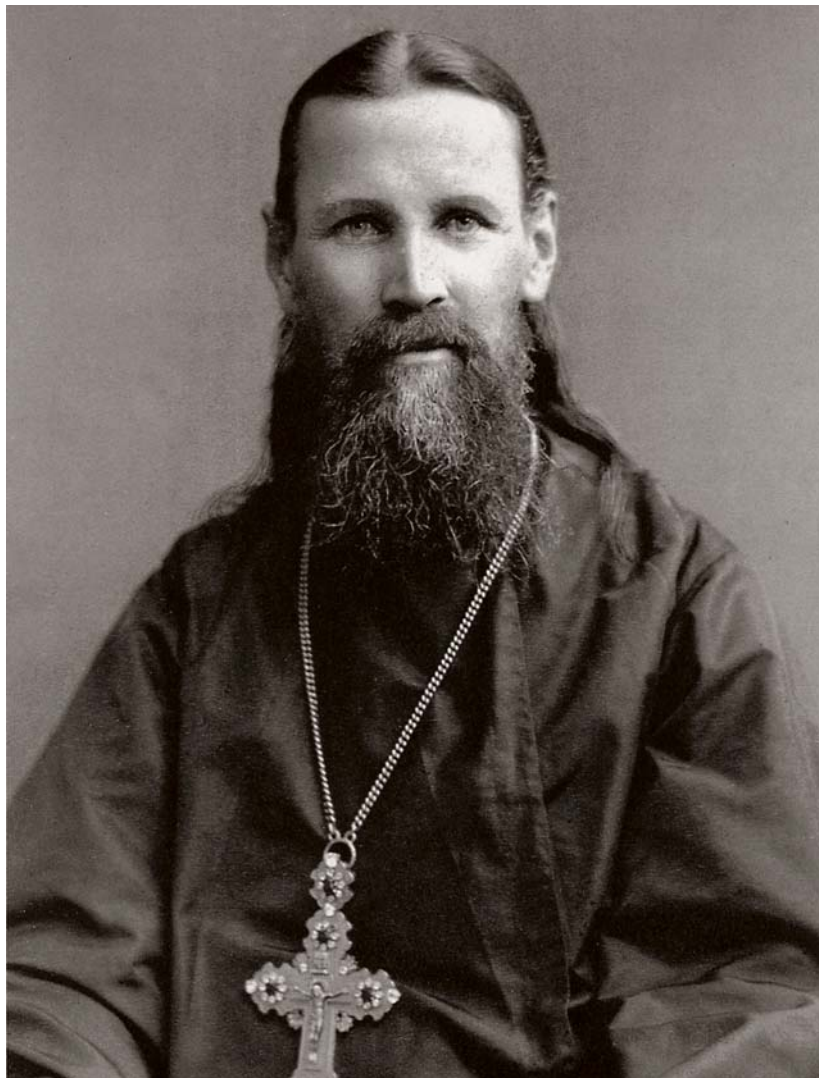
В длиннейшем коридоре второго этажа нас выстроили рядами. Надзиратели обошли строй, обдернули кое-кому куртки, поправили пояса. В большие окна глядел серый зимний день. Мы сколько-то простояли так, потом внизу в швейцарской произошло движение.

— Приехал, приехал!

Через несколько минут по парадной лестнице, устланной красным ковром, мимо фикусов в кадках быстрой походкой подымался худенький священник в лиловой шелковой рясе, с большим наперсным крестом. За ним, слегка запыхавшись и с тем выражением, какое бывало у него пред инспектором учебного округа, шел директор. Учителя почтительно ждали наверху.

Священник на ходу благословлял встречных. Ему целовали руку. Подойдя к нам, он остановился, поднял золотой крест и высоким, пронзительным, довольно неприятным голосом сказал несколько слов. Я не помню их. Но отца Иоанна запомнил. Помню его подвижное, нервное лицо народного типа с голубыми, очень живыми и напряженными глазами. Разлетающиеся, нетяжелые, с проседью волосы. Ощущение острого, сухого огня. И малой весомости. Будто электрическая сила несла его. Руки всегда в движении, он ими много жестикулировал. Улыбка глаз добрая, но голос неприятный и манера держаться несколько вызывающая.

Нас показывали ему, как выстроенный полк командиру корпуса. Он прошел по рядам очень быстро, прошуршал своей рясой, кое-кого потрепал по щеке, приласкал, кое-что спросил, но несущественное. В памяти



Св. Иоанн Кронштадтский

Иоанн Кронштадтский
Возрождение. Париж. 1929. 13 окт.
№ 1594.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский посетил Калугу в мае 1895 г. Он прибыл в город на кладку первого камня в здание Работного дома на Сальной улице (ныне улица Труда). За два дня пребывания в городе «всероссийский батюшка»

посетил десятки учебных, духовных и богоугодных заведений. В 2003 г. на здании Троицкого кафедрального собора Калуги в честь этого посещения была открыта мемориальная доска. В калужской классической мужской гимназии Зайцев учился в 1892–1894 гг. (см.: Зайцев Е.Н. Русский писатель земли Калужской. Калуга, 2004. С. 43).

моей теперь представляется, что он как бы пролетел по шеренгам и унесся к новым людям, новым благословениям. Наверно, смутил, нарушил сонное бытие и духовенства нашего, и гимназического начальства, и нас, учеников. Так огромный электромагнит заставляет метаться и прыгать стрелки маленьких магнитиков.

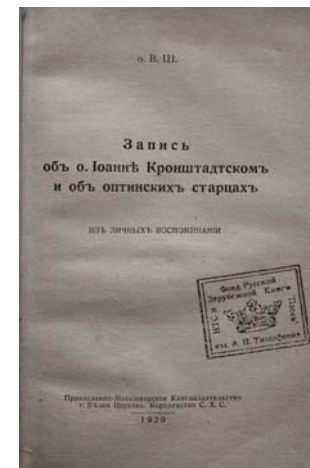
Мы, гимназисты, были довольно сонные и забытые существа. Не могу сказать, чтобы приезд Иоанна Кронштадтского сильно вывел нас из летаргии. Но странное, как бы беспокойное ощущение осталось... Тишины в нем не было.

* * *

Вспоминаю это по поводу книжечки, изданной в Югославии⁴, где даются заметки об отце Иоанне — заметки тоже священника (теперь; а тогда он был студентом). Записи замечательные. Таким, как он показан в них, легко узнаю худенького священника в лиловой рясе, виденного в отрочестве.

В просвещенном обществе (до-военном) к нему было неважное отношение. Общество это далеко стояло от религии и духовной жизни. Оценить редкостное и поразительное в о. Иоанне оно не могло. Предубеждение говорило, что ничего такого вообще быть не может, все это лишь для невежд. И не без высокомерия указывалось, что вот вокруг него всегда какие-то кликуши — о. Иоанн не весьма благополучен, от него отзывает изуверами и изуверками.

Во всем этом правдой было только то, что он преимущественно имел дело с простым народом и обладал могучею силой экстаза. Она давала ему власть над толпой. И его проповеди, и службы оказывали безмерное действие — в котором было величие, но крылась и опасность: восторг принимал иногда нездоровые формы. На некоторые слабые, болезненные натуры (чаще



⁴ О. В. Ш. — «Запись об о. Иоанне Кронштадтском и об оптинских старцах» — изд. Православного миссионерского книгоиздательства в Белой Церкви. — Б. 3.

всего женские) о. Иоанн влиял слишком сильно, как-то сламывал их. Нервная сила уж очень в нем преобладала — в этом смысле он был человеком не-афонского склада.

Действие его на массы изображает о. В<асилий> Ш<устин> — описывая заутреню и общую исповедь в кронштадтском соборе.

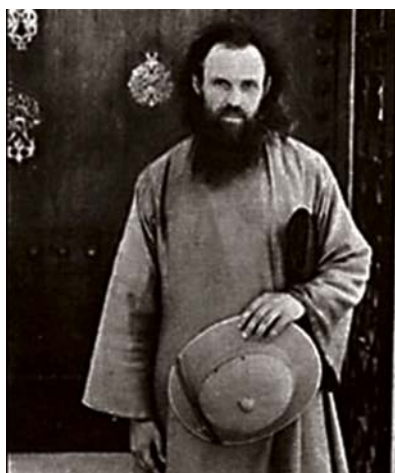
Глухой, ранний час — около пяти. Еще темно. Собор, вмещающий несколько тысяч человек, уже полон, в нем давка. У амвона решетка, чтобы сдерживать напор толпы. Отошла утренняя; отец Иоанн прочел молитвы перед исповедью, сказал о покаянии и громко (тем самым пронзительным и резким голосом) крикнул:

— Кайтесь!

Подымается нечто невообразимое. Вопли, крики. Особенно усердствуют женщины.

Выкрикивают тайные грехи, стараются кричать как можно громче, чтобы «батюшка» услышал и помолился за них. А о. Иоанн в это время на коленях молится пред алтарем. Крики переходят в плач и рыдания. Так — с четверть часа. Наконец о. Иоанн поднялся с колен — пот катился по его лицу, — вышел на амвон и прочитал разрешительную молитву, обеда все это людское море движением епитрахили. Началась литургия.

Все грандиозно и в дальнейшем: служба двенадцати священников, двенадцать огромных чаш и дискосов на престоле, служение самого о. Иоанна — очень нервное, некоторые слова выкрикивал он «дерзновенно».



Шустин Василий Васильевич (1886–1968) — протоиерей.

В годы учебы в Электротехническом институте в Санкт-Петербурге был близок к о. Иоанну Кронштадскому и к оптинским старцам. Участвовал в Первой мировой войне, был в рядах Добровольческой армии. В эмиграции с 1920 г. В Югославии преподавал физику в кадетском корпусе в г. Белая Церковь. Принял священство в 1930 г. В течение 30 лет был настоятелем храма Св. апостола Андрея Первозванного в Алжире. Скончался в 1968 г. в Каннах (Франция).

И с 9 час<ов> утра до 2 ч<асов> 30 м<инут> дня этот несильный телесно человек, как бы несомый особым подъемом, держит в руках чашу и причащает — человечество непрерывно приливает к нему и отливает, облегченное, очищенное.

Но вот и темные черты: «иоаннитки», последовательницы секты, считавшей его за Спасителя, вторично сошедшего на землю. О. Иоанн не давал им причастия. «Проходи, проходи, — говорил он, — ты обуяна безумием, я предал вас анафеме за богохульство». Но отделаться от них не так-то было легко. Они как безумные лезли к чаше, так что городовым приходилось их оттаскивать. Мало того, при каждом удобном случае они кусали его, стараясь причаститься каплей его крови!

Он обличал их публично в соборе и предавал отлучению — ничто не помогало. Они доставляли ему много горя и неприятностей и давали повод к несправедливому осуждению его самого. Не одобрявшие его не видели или не понимали того огромного, что он делал. А крайности психопаток подхватывали, раздували. Но его глубоко любили и почитали самые здоровые, обычные люди (иоаннитки были, конечно, исключением). В общем, он был народный или даже простонародный герой, «свой», «наш», хотя и ходил в шелковой рясе, и носил ордена, и нередко разъезжал в карете (разумеется, в «доброхотной»). Был ли он образован? Не думаю. Представляю его себе скорее удивительным самородком русским в окружении мещанско-купеческом. Но это давало ему корневитость, укорененность в «русском». Во всяком случае, от интеллигенции он был далек.

Русская народная природа очень сильно была в нем выражена, эти голубые, совсем крестьянские глаза, полные ветра и полей, наверно, действовали неотразимо — особенно когда горели любовью и молитвой. О. Иоанн являлся своего рода «Николой Угодником», ходатаем и заступником, к нему можно обратиться в горе, беде, в болезни — он поможет. Недаром всюду, где он появлялся, собиралась толпа — так было и всегда с существами, как он.

Отец В<асилий> Ш<устин> рассказывает о некоторых случаях исцелений о. Иоанна.

Его собственный отец умирал от горловой чахотки. Проф<ессор> Симановский определил, что ему

жить дней десять. Так как о. Иоанн был близок семье В<асилия> Ш<устина>, то ему послали в Кронштадт телеграмму. Он приехал. Увидев отца, воскликнул:

— Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез Св<ятые> Дары, причастил бы.

Отец молча, скорбно смотрел на него. Тогда о. Иоанн задумался и вдруг спросил:

— Веришь ли ты, что я силою Божиею могу помочь тебе? Отец говорить уже не мог и только кивнул утвердительно.

О. Иоанн велел ему раскрыть рот «и трижды крестообразно дунул». Потом размахнулся и ударил по маленькому столику с лекарствами. Все склянки полетели и разбились. (Как это живо и типично для него! Как ясно вижу я быструю и нервную руку, громящую ненужные снадобья!)

Он велел везти отца к себе в Кронштадт причаститься. Несмотря на холод и опасность, его свезли. «Когда он вернулся домой, Симановский был поражен: в горле все раны оказались затянуты. Симановский во всеуслышание заявил: это невиданно, это прямо чудо!» (Отец прожил после того еще 25 лет.)

На крестины сестры В<асилия> Ш<устина> о. Иоанн приехал без всякого предупреждения — она родилась раньше предполагаемого срока, и никто его не извещал. Но он знал об этом — своими, ему лишь ведомыми путями. Впоследствии, когда девочке было семь лет, она заболела черной оспой. О. Иоанн провел по изъязвленному личику рукою, погладил. Когда болезнь прошла, ни одной язвинки не осталось на лице.

* * *

Для этого легендарного человека не существовало ни расстояний, ни времени. Он угадывает чужое горе и сразу дает лечение, он в толпе чувствует близкую и живую душу... И он всегда с народом, окружен им, в его стихии. Одна страстная и пылкого сердца женщина, сама склонная к мистике и сейчас глубоко религиозная, рассказывала мне, как подростком видела о. Иоанна в Царицыне (под Москвой) на железнодорожной платформе. Он благословлял из окна вагона народ. Увидев ее, вдруг крикнул:

— Хохлатенькая, подойди сюда!

Она подошла, он положил ей руку на голову и особо ее благословил. Ее жизнь не кончена и судьба

неизвестна. Я знаю только, что тогда она была рыженьким «хохлатым» подростком, далеким от веры и религии, а сейчас страстно преданная Церкви и православию женщина, — ее он сразу и выбрал, отметил и полюбил в тысячной толпе.

А оптинский старец Варсонофий? Молодой офицер, которому надо было повидать в Москве о. Иоанна, заехал в церковь кадетского корпуса, где тот служил, и зашел в алтарь. О. Иоанн в это время переносил Св<ятые> Дары с престола на жертвенник. Вдруг он поставил чашу, подошел к офицеру и поцеловал ему руку. Никто не понял, почему он это сделал, произошло некоторое замешательство, и сам офицер смутился. Потом присутствовавшие стали ему говорить, что, вероятно, это означает какое-нибудь грядущее событие его жизни — напр<имер>, что он станет священником. Офицер стал смеяться — ему и в голову не приходило стать священником. Вышло же в конце концов так, что не только священником — сделался он монахом и старцем о. Варсонофием⁵.

В «Записи» говорится не раз, что о. Иоанн «дерзновенно» молился. Сначала это даже удивляет... но, пожалуй, и характерно для него — для его стремительности, горячности — и для ощущения «сыновности» Богу. Замечательно, что молился он всегда импровизированными словами, стоя на коленях, но некоторые слова выговаривал резко, с ударением — точно бы требовал. Черта крайне своеобразная. Как-то жутко сказать, но и вообще в нем некий вызов был. Даже в том беглом, гимназическом впечатлении — тишины и смирения не осталось. Может быть, юродство пред Богом? Смелость, дозволяемая и терпимая по большой близости?

Все это темные догадки. Знаем мы о нем, к сожалению, мало. Замечательный его облик заслуживал бы подробного, любовного изучения. «Запись» о. В<асилия> Ш<устина>, сделанная с большой простотой и с огромной любовью к о. Иоанну, — чрезвычайно важный материал, но именно — материал. А теперь — самое время русским приняться за ознакомление со своими героями — как велика, бесконечно богата Россия и как мало сами мы ее знаем!

⁵ Рассказ самого о. Варсонофия о. В<асилию> Ш<устину>. — Б.З.

Еще особенность о. Иоанна: по словам о. В<асилия> Ш<устина>, жена была ему скорее сестрою, чем женой⁶. Тяжесть пола, крови, деторождения, их земной вес как бы чужды ему. Это слишком летящий человек и слишком духоносный для того, чтобы производить потомство. Пол отошел от него.

Смел, легок, дерзновен... О. Варсонофий видел его во сне так: он ведет его по лестнице, за облака. Было на ней несколько площадок, он довел Варсонофия до одной, а сам устремился дальше, сказал: «Мне надо выше, я там живу» — при этом стал быстро подниматься кверху.

Вот это ясно я вижу. По небесной лестнице подымается он с тою же легкой быстротой, как и по лестнице калужской гимназии.

Оптина пустынь

Когда я был ребенком, мы жили в Жиздринском уезде Калужской губернии, в селе Усты. На лето выезжали иногда в имение отца под Калугу, на Оке. Ездили на лошадях с кормежками и отдыхали в пути с медлительною основательностью прошлого. Правда, в этой основательности было и такое вхождение в Россию, такая жизненная с ней близость, какой не могут дать быстрые передвижения. И вот сейчас — через столько лет! — как живые видишь Брынские леса, березы большака под Козельском, осенние зеленыя у Перемышля.

Отправлялись обычно с утра, очень рано. В Сухиничах «кормили», т. е. останавливались в грязной гостинице на базарной площади и давали отдых лошадям. Подкреплялись и сами захваченной из дому снедью. Часа через три тройка уже вновь запряжена, опять большак и опять справа синеют леса, слева поля, иногда проезжаем мимо имений — впереди, к вечеру, Козельск.

В Козельске ночевали. Этот городок мне всегда нравился — Сухиничи и Перемышль просто захоlustье, убожество, тоска уездного городишки, но в Козельске лучше и поэтичней: много церквей, зелени, все понарядней, чудесный луг по Жиздре, а за нею бор, в нем знаменитый монастырь — кажется, купола его видны и из Козельска.

Какое-то свое действие на Козельск Оптиная пустынь имела, я уверен. Или, может быть, и возникла около него не случайно — Козельск древний, благородный городок, некогда геройски отбивавший татар (помнится, там была даже княгиня-мученица). Так что это

⁶ Что вело к тяжелым жизненным осложнениям. — Б.З.

Русь вековая, прославленная. Около лабазов Сухиничей монастырь не возник бы.

Наша семья не была религиозна. По тому времени просвещенные люди, типа родителей моих, считали все «такое» суеверием и пустяками. Так что ребенком, не раз проезжая в двух-трех верстах от Оптиной, я ни разу ее не посетил.

Но в Устах водилось у меня много приятелей, разных Савосек, Масеток, Романов, да и нянюшки Дашеньки, кухарки Варвары не раз рассказывали об Оптиной и удивительном старце Амвросии. Наши бабы из Устов ходили к нему за советами, слава его была очень велика, текла самотеком, из уст в уста, без шума, но с любовью. Знали, что, если в жизни недоумение, запутанность, горе — надо идти к о. Амвросию, он все разберет, утишит и утешит.

* * *

Судя по тому, что потом приходилось читать и слышать об Оптиной, укрывавшейся золотыми своими крестами в лесах, это обитель, прославившаяся благодаря старчеству. За девятнадцатый век в ней прошла целая династия старцев. Старцы не управляли ничем, они жили отдельно, в скиту, и являлись живым словом монастыря миру: мир шел к ним за помощью, советом, поучением. Это давало, конечно, глубокую, сердечную связь монастыря с миром, святыня становилась не отдаленно-сияющей, а своей, родной.

История монастыря дает несколько обликов старцев. О. Леонид, простонародный и прямой, с оттенком юродства. Тихий и некрасивый, но просвещенный о. Макарий, любитель духовной литературы и музыки, издающий совместно с Иваном Киреевским писания о. Паисия Величковского (основателя старчества). Наконец, о. Амвросий, наиболее из всех прославленный, быть может, наиболее гармонический и ясный тип оптинского старца. Нектарий, Анатолий — целый ряд⁷.

Я представляю себе жизнь и «творчество» монастыря так: допустим, я паломник. Подъезжаю со стороны Козельска к реке Жиздре. Вокруг луга, за рекою вековой бор. Чтобы попасть в монастырь, надо пере-

⁷ Подробнее см. в кн. о. С. Четверикова «Оптина пустынь» и в «Записи» о. В<асилия> Ш<устина>. — Б.З.



Оптина пустынь. Начало XX в.

правиться на пароме: вода — черта легкая, но все же отделяющая один мир от другого. Наверно, еще два-три богомольца будут на этом пароме. Монах тянет веревку, кучер слезет, станет помогать. Поплескивает вода, мы будто бы стоим, а уже берег отделился. Кулик низко пролетит к отмели той самой Жиздры, где мальчишкой ловил я пескарей. Будет пахнуть речною влагой, лугами, а главное — сосновым бором. Там, среди лесов, четырехугольник монастыря с высокою белой колокольней в середине. По углам стен — башни. Ямщик привезет меня в монастырскую гостиницу — большая прелесть в чистых половичках на лестнице, в цветах на окне номера, иконах в углу с теплящейся лампадкой, видами обители на стенах, в запахе кипариса, ладана, постных шей — это все знакомо по Афону, вероятно, в Оптиной имело еще более русский облик. (Над Афоном всегда веяние Эллады, там не может быть запаха русского бора.)

Тишина, скромность, благообразие долгих церковных служб... — Но это как обычно в монастыре. И вот иду дорожкой среди сосен, от монастыря в скит к старцу — тою самою дорожкой, какой ходил Алеша Карамазов. Смерть Зосимы, ночь сомнений Алешиных, «Кана Галилейская», вечный шум этих

сосен, ночные звезды, по которым ощутил он вновь Истину... Но сейчас солнечное утро. Мы вступаем в ограду скита. Здесь разбросано несколько домиков, среди них небольшая церковь. Около домиков цветы. Деревянные дорожки проложены от одного к другому. Очень тихо. Сосны шумят, цветы цветут, пчелы жужжат, солнце греет... — вот облик скитской жизни.

Мы подыдемся на одно из крылечек, войдем в коридор. Направо будет дверь в зальце-приемную, налево — в комнату старца. Уже посетители собрались, ждут. Из окон видны розы, и мальвы, и левкой цветника. Старец еще не вышел, он читает полученные за день письма, диктует ответы, некоторые пишет сам.

* * *

Я слышал рассказ одного близкого мне человека из артистического мира, прожившего в Оптиной довольно долго, много наблюдавшего за старцами. Они произвели на него глубочайшее впечатление. (Это было незадолго до войны. Я думаю, он видел Анатолия (младшего), Нектария и Варсонофия.) Помню, он отмечал в них соединение высокой аристократичности, тончайшей духовной выделки с простонародно-русским обличьем. Острейшую душевную пронизательность утверждал он — способность сразу и безошибочно определять человека, видеть его насквозь, со всеми его болями, радостями, дарованиями и грехами. Он называл их «великими художниками души». В противоположность о. Иоанну Кронштадтскому, они вполне далеки от экстаза и нервной экзальтации. Спокойная и кроткая любовность — основа их.

И вот, если бы я был оптинским паломником, я ждал бы в солнечном утре в зальце выхода о. Амвросия — принес бы ему грешную свою мирскую душу. Как взглянул бы он на меня? Что сказал бы? Жутко перед взглядом человека, от которого ничто в тебе не скрыто, которого долгая, святая жизнь так облегчила,

Я слышал рассказ одного близкого мне человека... — Речь идет о Петре Михайловиче Ярцеве (1871–1930) — театральном критике, режиссере и драматурге, близком знакомом Зайцева. Ему посвящена глава в книге воспоминаний Зайцева «Москва», где рассказано о поездке

Ярцева в Оптину с книгой Достоевского и о том удивительном влиянии, которое оказал на него монастырь и старцы. В начале XX в. Ярцев написал ряд статей об Оптиной и пьесу «У монастыря» (1904), навеянную пребыванием там.

истончила, что как будто через него уж иной мир чувствуется. Мог ли бы я ему отдаться? Вот что важно. (Мне лично кажется это чрезвычайно трудным.) Ведь в старчестве так: если я не случайный посетитель «зальца», то кончается тем, что я выбираю себе старца духовным руководителем, вручаю ему свою волю, и что он скажет, так тому и быть, я должен безусловно, безоглядно ему верить — это предполагает совершенную любовь и совершенное перед ним смирение. Как смириться? Как найти в себе силы себя отвергнуть? А между тем это постоянно бывает и, наверное, для наших измученных и загрязненных душ полезно... Впрочем, я не видал никогда Амвросия и не познал его действия на себе.

О.В<асилий> Ш<устин> в своей «Записи» рассказывает, как старец Варсонофий женил его самого, В<асилия> Ш<устина> — выбрал ему невесту, ей тоже внушил, за кого она должна выйти, — какой гигантский мир в скромных праведниках, какая сила! Но ведь и даны им дары необычайные — В<асилий> Ш<устин> вскользь упоминает, что старец Нектарий читал письма, не распечатывая их, — просто сортировал: налево просьбы, вот это благодарственные, тут надо ответ дать и т. п.

О. Амвросий был старец болезненный, к шестидесяти пяти годам сильно ослабевший. Его жизнь такая: вставал около четырех, в постели умывался теплой водой, стоя на коленях. Келейник вычитывал ему правило, затем начиналось чтение писем (он получал их до шестидесяти в день), и только к девяти, напившись чаю, выходил к посетителям. Высокого роста, сторбленный, ходил в ватном подряснике. Когда снимал камилавку, открывался большой умный лоб его. Редкая длинная борода, очень добрые и пронизательные глаза. Его ждала «вся Россия» — простая, страждущая Русь, мужчины, женщины, дети. Келейник докладывал: «Там, батюшка, собрались разные народы — московские, смоленские, вяземские, тульские, калужские, орловские — хотят вас видеть».

Старец молился перед иконой Богоматери, затем начинал расточать себя. Любовь, ее обилие! На всех хватало любви. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы» — они и шли. Не было для о. Амвросия неважного, малого человеческого горя, говорит о. Четвериков, хорошо его

знавший. Он принимал с 9 до 12, потом с 2 до вечера, и иногда, уже совсем ослабший от болезни, усталый, беседовал, лежа на своей койке, — но беседовал. И с чем только к нему не являлись! Под его защиту, помощь шла обманутая девушка, отвергнутая родителями и обществом, а вот у святого человека этот «незаконный» мальчик бегал и прыгал по келье, старик ласкал его, ободрял мать и даже материально ей помогал.

Спрашивали, выходить ли замуж, жениться ли, ехать ли на заработки. Спрашивала баба со слезами, как ей кормить господских индюшек, чтобы не дохли. Он спокойно ее расспрашивал и давал совет, а когда указывали ему, что напрасно он теряет время на такие пустяки, говорил: «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь».

Так раздавал он себя, не меряя и не считая. Не потому ли всегда хватало, всегда было вино в мехах его, что был соединен он прямо с первым и безграничным океаном любви?

* * *

Все это происходило так ужасно давно! Мест, где прошло мое раннее детство, я не видал десятки лет. Жизнь изменилась безмерно. Вероятно, нет нашего белого двухэтажного дома в Устах, ничего не осталось от усадьбы в Будакове, под Калугою, куда мы ездили. Через Сухиничи давно прошла железная дорога, и никто не ездит более «на долгих». Козельск, наверно, все такой же... Оптиной... просто нет.

Всю горечь, всю тяжесть неравной борьбы за нее пришлось вынести старцам Анатолию и Нектарию — мигиканам оптинской династии. Революция надвигалась — злобная, бешено-разрушительная. Оптина

пустынь погибла, т. е. здания существуют, но их назначение иное. Место, где бывал Гоголь, куда приезжали Соловьев и Достоевский, где жил Леонтьев и куда навещался сам Толстой, — ушло на дно таинственного озера — до времени. В новой татарщине нет места Оптиной. — Вокруг, по лесам Брынским, по соседним деревушкам, таятся бывшие обитатели обители. Появились в окрестностях и новые люди — православные из Москвы, художники, люди высокой культуры, селятся вблизи бывшего монастыря, как бы питаются его подземным светом. Собирают и записывают черты высочайших жизней старцев, некоторые работают, есть и такие, кто приезжает на лето из города, как бы на дачу. Мне недавно пришлось у знакомых читать описание пасхальной ночи — оттуда. Как сияла огнями сельская церковь за рекой, как река разлилась и надо было в лодке плыть к заутрене — я знаю и сам, как черны эти ночи пасхальные у нас в деревне, как жгут звезды, как плывут, дробятся отраженья плошек и фонариков в реке, как чудно и таинственно — плыть по воде святою ночью.

Далекий разлив, тьма, благовест... Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его.

...говорит о Четвериков, хорошо его знавший. — См.: Четвериков С., прот. Оптина пустынь. Париж, 1926. С. 76.

Четвериков Сергей (1867–1947) — священник. В эмиграции с 1920 г., с 1928 г. — духовный руководитель РСХД.

...здания существуют, но их назначение иное. — Монастырь был закрыт в 1918 г. В 1921 г. в нем был открыт музей, в 1924–1927 гг. — историко-мемориальный памятник-музей «Оптина пустынь». В 1930–1940-х гг. там размещался дом отдыха, в 1943–1959 гг. — детдом для детей репрессированных, в 1959–1987 гг. — ПТУ. В ноябре 1987 г. Оптина возвращена Православной церкви.

Счастье

Я по милости Божией человек-христианин, по делам великий грешник, по званию бесприютный странник, самого низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее: за плечами сумка сухарей да под пазухой Священная Библия.

Представьте себе село Орловской губернии сороковых, пятидесятих годов, мальчика-сироту. Вместе со старшим братом живет он у дедушки, богомольного старика, владельца постоялого двора на большой дороге — с ним ходит к обедне, а дома слушает, как тот читает Библию. Мальчик сухорукий — когда ему было семь лет, старший брат столкнул его с печи, он повредил себе руку, и она усохла. Братья растут. Пути их расходятся. Старший стал пьяницей, буяном — ушел из дому. Младшего дед женил, оставил ему постоялый двор и умер.

Старший завидовал молодой чете, владевшей двором. Однажды ночью поджег их, они едва спаслись: Библию только дедовскую успели вытащить.

Стали жить в бедности, но в любви — жена оказалась достойной, степенной, трудолюбивой. Ткала, пряла, шила, этим прокармливала мужа, который «по безрукости» работать не мог: она работает, он

ей читает Библию, она слушает и вдруг заплачет: «Уж очень хорошо в Библии написано».

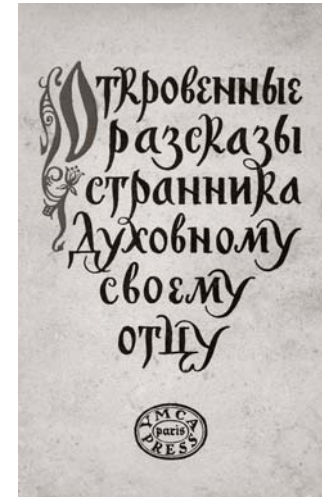
Но и семье их не бывать: жена через два года захворала и скончалась от горячки. Он по ней страшно тосковал. Не мог равнодушно видеть ни одежды ее, ни платка, никакой вещи — и решил из дома своего уйти. Роздал остатки имущества нищим, взял дедовскую Библию, котомку, палку и пошел странствовать — из Орла в Киев поклониться угодникам Божиим, из Киева в Иркутск, а там в Одессу, на Афон, в Иерусалим.

Кто он? Как имя его? Неведомо — «по милости Божией человек-христианин». Я назвал бы его Алексием или Василием, если бы писал книгу о его жизни. Но он сам это сделал — и гораздо лучше меня, и притом вовсе не собирался писать, а уж так вышло. Будучи в Иркутске, на тринадцатом году странствования, а жизни своей на тридцать третьем, рассказывал о себе некоему священнику, у которого исповедовался, — духовному своему отцу. И опять ушел. Но тот записал слышанное. Запись попала на Афон. Там у старца-схимника списана вновь и издана в восьмидесятых годах. Теперь — библиографическая редкость — только что воспроизведена в Париже издательством «ИМКА»⁸. Мы можем спокойно слушать смиренного странника.

* * *

Первое свое странствие — в Киев — он совершил, чтобы получить облегчение после смерти жены. Вероятно, и получил. Но оказалось, что есть и другое дело. Вышел-то он в путь не только потому, что некуда было преклонить голову. И его странствие — не простое мечение ногами безграничных дорог России. Возможно, иной нашел бы то, что его влекло, и не странствуя. Но его натура оказалась именно такая.

⁸ Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Париж, 1930. — Б.З.



Счастье

Возрождение. Париж. 1930. 15 июня. №1839.

В 1881 г. в Казани была опубликована книга «Откровенный рассказ странника духовному своему отцу, написанный слышавшим, по убеждению следующего изречения в слове Божиим: „Тайну цареву добро есть хранить, дела же Божия открывать славно“ (Тов. 12: 7)». Здесь, как и во всех последующих изданиях, имя

автора отсутствовало. В 1884 г. вышло третье издание книги с правкой епископа Феофана (Говорова) и уже под названием «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Впоследствии она неоднократно переиздавалась в России и за границей. Автор книги долгое время оставался неизвестен, и лишь недавно установлено, что им является архимандрит Михаил (Козлов). Подробнее см.: Символ. Париж. 1992. №27.

«В двадцать четвертую неделю после Троицына дня пришел я в церковь к обедне помолиться; читали Апостол из послания к Солунянам, зачало 273, в котором сказано: непрестанно молитесь. Сие изречение особенно вперилось в ум мой, и начал я думать, как же можно непрестанно молиться, когда необходимо нужно каждому человеку и в других делах упражняться для поддержания своей жизни?»

Найти совершенную, полную молитву, чрез нее просветиться и приблизиться к Богу — вот что стало его целью. Вот толчок, полученный откуда-то. И странник начинает читать, спрашивает, старается вникнуть, как это можно непрестанно молиться, — за решением вновь пускается в путь. Побывал в разных местах, имел разные разговоры, наконец, на большаке около одной пустыни встретил старичка-схимника, в беседе поведал свое желание понять нечто о молитве и научиться ей: тот взял его с собой в обитель и в мистической книге «Добротолюбие» указал у Симеона Нового Богослова наставление о молитве Иисусовой. Да и свой опыт сообщил.

Началось аскетически-мистическое обучение и воспитание. Странник нанимается по соседству у мужика стеречь огород, поселяется в шалаше, одиноко, и упражняется под руководством схимника в молитве — так называемой «умной» и «сердечной», т.е. в таком призывании Бога, которое вначале совершается словами, а потом творится уже почти самопроизвольно (даже во сне!), всем существом, и особенно сердцем. Он рассказывает, как жил, что испытывал в этих упражнениях. Старец вводил его постепенно. Назначал ему сперва по три тысячи молитв в день («Господи Иисусе Христе, помилуй мя!»), потом по шести, наконец, по двенадцати тысяч.

Вот что получалось:

«Однажды, рано поутру, как бы разбудила меня молитва. Стал было читать утренние молитвы, но язык неловко их выговаривал, и все желание само собою стремилось, чтобы творить Иисусову молитву. И когда ее начал, как стало легко, отрадно, и язык, и уста как бы сами собой выговаривали без моего понуждения! Весь день провел я в радости и был как бы отрешенным от всего прочего, был как бы на другой земле и с легкостью окончил двенадцать тысяч молитв в ранний вечер».

Начинается то, в поисках чего, в сущности, и вышел он в путь, — ощущение Царства Божия на земле, в сердце. Начинается счастье. По сибирским дорогам повлечет он его за собой. Оно с ним и в ходьбе, и в стоянке. «Уединенный шалаш мой представлялся мне великолепным чертогом, и я не знал, как благодарить Бога»...

А вокруг... Библия, «Добротолюбие», сумка сухарей, кончающееся лето и кончающийся шалаш мужицкого огорода — да смерть старца-наставника.

Он уходит в Сибирь. Там «безмолвнее» ему идти по степям и лесам, занимаясь молитвой. Но теперь он и другим передаст свое знание. В глухом лесу набрел, например, на землянку лесного сторожа, уединенно караулившего лес, проданный на срубку. Сторож тоже особенный человек, тоже спасается и размышляет о душе, ходит в веригах, молится и бьет поклоны — но его берут сомнения. Веселость странника ему незнакома. («Так и на земле-то живешь в трудах, и ничем не утешись, и на том свете ничего не будет, так что же из этого? Не лучше ли хоть на земле-то пожить попрохладнее и повеселее?») Он предлагает страннику поселиться в другой землянке, по соседству, тоже в уединении, пока не съедутся мужики рубить лес. И вот живут они бок о бок пять месяцев. Странник обучает сумрачного отшельника Иисусовой молитве и сам в ней совершенствуется, переходит чрез разные «растеплевания» сердца, «радостные кипения» к высшим ступеням аскезы и восторга, увлекая за собою и соседа. А потом, когда началась вокруг жизнь, съехались порубщики, оставил он «безмолвное жилище» — поцеловал клочок земли, на котором провел пять месяцев, и тронулся дальше. — Идет, идет... «Если голод меня начнет одолевать, я стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, начнется ломота в спине и ногах, стану внимать молитве и боли не слышу. Кто когда оскорбит меня, я только вспомню, как насладительна Иисусова молитва: тут же оскорбление и сердитость пройдет и все забуду...» «И хочется, чтобы беспрестанно творить молитву, и когда ею занимаюсь, то мне бывает очень весело»...

С этим веселием продолжает он странствия безбрежные — чрез всю Сибирь — в Иркутск.

* * *

Сухорукий путник оказался превосходным рассказчиком. В его словах нет «пейзажа», который мы любили расписывать, но — правильно отмечает проф. Б. Вышеславцев — очень скупыми словами, лишь слегка касаясь, дает он удивительно Россию — и шалаш того огородника, где жил, и землянку на сводке леса, и арестантов, обидевших его, и капитана, читающего по Евангелию ежедневно — обет за спасение от пьянства, — и часовню, где он собирал на построение храма, и леса, и волков — вообще дает в небольших своих повествованиях себя и душу свою — дает Божий мир, необычайно широкий, вольный. Некий ветер ходит по страницам бесхитростных сказаний. Мир легок и оправдан, поразительно, как одухотворен мир! «Все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет»... Все хороши, и все для него хорошо. В сущности, зла нет: вот идет он под вечер зимою, лесом, на него бросается огромный волк. Странник замахивается четками. Четки выскочили у него из рук, волк в них запутался, вскочил в терновый куст да и стал там биться, не может выпутаться — хотел обидеть сухорукого, да и то не вышло. Пришлось страннику еще собственного обидчика спасать. Ничего с ним нельзя поделаться. Однажды его схватили, несправедливо, ни за что ни про что высекали: он ничего тяжелого не испытал. «Все сии происшествия нисколько меня не оскорбили, как будто случились с кем другим, и я только их видел».

Я думаю, что последние слова важны. Странник действительно живет так: он продвигается по миру и все в нем принимает и любит, но ни к чему не привязывается, никаких уз на него не наложено. Он может только сам испытывать видения рая в окружающем и передавать людям (а может быть, и животным, природе) свой свет, пришедший к нему свыше. Ибо непрестанное упражнение в молитве, как научил его старец и отцы из «Добротолюбия», привело к тому, что она стала в нем твориться произвольно, само сердце

каждым биением уже общалось, соединялось с источником света.

Читая, иногда думаешь о его рассказах: ведь это

Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) — видный русский философ. Автор труда «Вечное в русской философии», посвященного истории отечественной мысли.

времена далекие, почти на грани крепостного права. Сколь мы привыкли считать ту эпоху суровой, жестокой, — она в некотором смысле и была суровой, — но почему все там, как на подбор, оказывается хорошим? С кем бы странник ни сталкивался, во всех душа, он живет в мире одухотворенном, среди людей, а не предметов. (Как сильно ощущаешь это на Афоне!) Одухотворены и леса, по которым проделывает он ежедневно десятки верст, и зимние вьюги, и капитаны, и писаря, и мужики, и поляк-управляющий, и даже волк не плох — вроде волка из Губбии, встретившегося св. Франциску. Теряет свою грозность и тот исправник, что второпях приказал его высечь.

Не говорю уже о настоящих праведниках, попадающих на его пути, напр., те тобольские помещики, муж и жена, дом которых полон нищими и обездоленными, усадьба похожа не то на монастырь, не то на богоугодное заведение. Они обедают вместе со слугами, читают Св. Писание и заняты, в сущности, только делом добра. Гоголь пробовал писать «добродетельных» помещиков — как неудачно и фальшиво получалось! А неведомый странник рассказывает, и ему веришь, хотя печальный опыт внятно говорит, как мало всего такого в жизни. Ему веришь, ибо волшебен воздух его рассказов и волшебен взор его. «Барин стал обвертывать онучами мне ноги, а барыня начала надевать башмаки. Я сперва не стал было даваться, но они приказали мне сидеть и говорили: сиди и молчи. Христос умывал ноги ученикам. Мне нечего было делать, и я начал плакать; заплакали и они».

От них шел он со слепцом полтора верст до Тобольска и слепца научил творить Иисусову молитву. «Дней через пять он начал чувствовать сильную теплоту и неслыханную приятность в сердце... Иногда представлялось ему, что как бы сильный пламень зажженной свечи вспыхивал сладостно внутри сердца и, выбрасываясь чрез горло наружу, освещал его» (в этом свете увидел, между прочим, слепой сгоревшую колокольню города, куда они пришли только к вечеру).

Так проводя время, питаюсь сухарями, водой, оставаясь у кого придется, встречаясь с кем Бог пошлет, и добрался до Иркутска, там поклонился мощам святителя Иннокентия и, прожив некоторое время, рассказал о годах своего скитания духовнику. А затем... с глухим старичком, с письмом иркутского

куща к сыну в Одессу — тронулся в путь вовсе и не-близкий — пешком в Иерусалим ко гробу Господню.

Странная и обольстительная, радостная книга, вызывающая и глубокую грусть. Страннику не хватает только взять с собой на подводу иерусалимскую Лукерью из «Живых мощей» да Касьяна с Красивой Мечи. Святители Сергей Радонежский, Никола Угодник и Серафим Саровский сопровождали бы их — тронулась бы Святая Русь...

Где она сейчас?

Под какими замками? Ныне все в жизни, и не только русской, ополчилось на кротость, на умиление, свет моего повествователя. Природа открывается сухоручному, но закрыта перед человеком-танком. Волк не побойтся Линдберга. Рокфеллер не поверит счастьем нищего.

И тем не менее... если возможно счастье, видениерая на земле: грядет оно лишь из России. Не знаем нынешних ее странников, святых, страдальцев — за дальностью туманов и пространств. Но никто меня не убедит, что в подземных рудах родины не таятся те же, о, все те же «самоцветные камни»... (Вопреки всему! Вопреки ужасу — верю.)

Об интеллигенции

Вот самое не-модное, самое легкоуязвимое слово: интеллигенция. В советской России оно просто бранное — интеллигент всегда верхушка, некий «кулак» умственный: стало быть, надо его изымать. Кроме того, он непременно представляется «тонконогим» — и неудобным для могучих деяний.

И в моей любимой Италии заметно — в смягченной латинской форме — то же недоверие к интеллигентству, т.е. всяким духовным утонченностям. И в Италии молодое здоровье, увлечение тракторами, футболами и американизмом переливается чрез край. (Недавно там было запретили старых русских «интеллигентов» — Толстого, Достоевского, Тургенева! — из опасений, что они отравят сложностями итальянскую душу.)

Часть эмиграции русской тоже ненавидит интеллигенцию — тут уже местные, свои причины: проигрыш революции. Упрекают, как и в советской России, в слабости, безволии, незнании жизни. В том, что мал был кулак. Что не умели преуспевать.

Происхождение этих чувств понятно. Но...

* * *

На тему об интеллигенции навела меня статья Лукаша о моих собственных писаниях (прежнего времени). Она благосклонна ко мне и крайне сурова к моим людям. Он их просто клеймит. Ненавидит все то время, весь склад жизни.

По причинам понятным мое положение трудно. Принимаю, однако, во имя справедливости, бой на невыгодных позициях.

Странная и обольстительная... книга... — Зайцев точен в своих импрессионистических определениях. Восторг, восхищение, подобные зайцевским, увлечение идеями книги испытали и российские читатели, когда впервые широко познакомились с ней на рубеже 1990-х гг. Однако серьезные богословские исследования показали: слишком многие моменты книги расходятся с христианской аскетикой, являясь именно «обольстительными», «прельстительными». Это показал, например, А. Н. Осипов в работе «Учение о молитве Иисусовой

святителя Игнатия (Брянчанинова) и в „Откровенных рассказах странника“» (Церковь и время. М. 2005. №1. С. 142–167).

Волк не побойтся Линдберга. — Линдберг (Lindbergh) Чарлз Огастес (1902–1974) — американский летчик. Принимал участие в борьбе за приз в 25 тысяч долларов, назначенный за первый успешный трансатлантический перелет. 20 мая 1927 г. Линдберг стартовал с летного поля Рузвельт-Филд в штате Нью-Йорк и спустя 33 часа приземлился в аэропорту Ле-Бурже под Парижем.

В статье Лукаша есть предвзятость, та «заранее» нелюбовь к интеллигенции, которая подает ему готовую схему: типическая фигура того времени — это «тусклый человек», «ненужный человек», последыш чеховских «скудных людей» и т. п. Внимание сосредоточено лишь на дурном. Что вне дурного, того не надо видеть.

Под схему он подводит всех, кого я изображал. Оказывается повинным в «интеллигентстве» даже маленький мальчик («Заря»), занимавшийся охотой да чтением Жюль Верна в русской деревне. Нежные черты любви в «Мифе» — тоже интеллигентство, упоминание о христианстве раздражает. Сердится он и на женщину, незадачливо любившую... (Никак не хочет верить искренности ее чувств! А все потому, что рама любви в России довоенной могла быть изящной.) Нет, чувства «тех» людей, того времени — это все «истерички и трагедийки». (А нам нужны великаны.)

Кажется смешным и человек, живший в «условном» интеллигентском окружении и ушедший в одиночество, ибо нашел он Истину.

Еще нагляднее «предустановленная ненависть» к некоему Христофорову, человеку неясно-мечтательных и зыбких чувств «Голубой звезды», кончающему дни свои в революцию. Христофоров, скромный житель российский, преподающий литературу, едет в санях поздним вечером с юношей Ваней, своим учеником. На них нападают грабители. Христофоров особенно драться не умеет, но погибает он, загородив собою Ваню.

Мужик Потап Ильич, увидав на другой день на постели тело Христофорова, поклонился ему.

— Не по нашим временам, нет... Нынче зубы надо волчьих.

Но Лукаш называет его за это «слизнем», «ни то ни се», «ни рыба ни мясо». За отсутствие волчьих зубов? Поразительно!

Об интеллигенции

Возрождение. Париж. 1930. 16 янв.
№1689.

«Заря» — рассказ Зайцева (1910), который лег в основу его автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба».

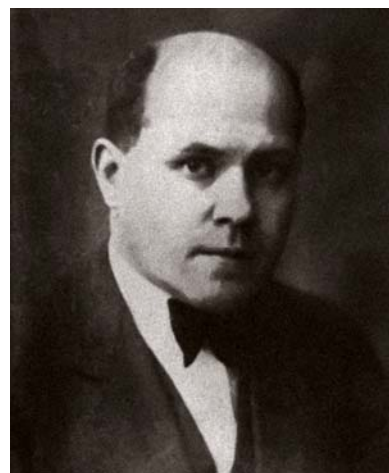
«Миф» — рассказ Зайцева (1906).

Христофоров — герой романа Зайцева «Голубая звезда» (1918) и рассказа «Странное путешествие» (1926). Прототипом его был писатель И. А. Новиков.

* * *

Я взял нелегкие примеры из своих писаний потому, что это часть жизни, какую сам я видел. Конечно, она имела слабые стороны. Вспоминая свою молодость и окружающее, не назову я людей сильных, волевого, диктаторского склада. И верно, конечно, что от дел политики, грубого и кровавого сложения государств, средне-просвещенный русский слой был далек — так сложилась история наша, не было опыта в управлении. Сила этой верхушки — в высокой и тонкой культуре, трагедия — в слишком большом отдалении от народа, слишком большом расстоянии. Да и не очень ценила интеллигенция свои блага земные. Вот уж копейничества и кулачества действительно не было! Хорошо это или плохо? Для практицизма очень даже плохо. Кто хочет много урвать от «благ», тому зубы надо заранее натачивать. Но в интеллигенции этим мало занимались. Да, конечно, странные люди!

Интеллигенции прошлого века, «классической», в кавычках, я уже не застал. Та была пересыщена «идейностью», иногда утомительна доктринерством, обладала своими шаблонами и рутинной — к этим чертам ее не может быть, конечно, хорошего отношения. Но «бессребренностью» и человеколюбием отличалась и она. Нельзя хулить огулом. Нельзя забывать сотен разных незаметных земских врачей, чеховских фельдшерцев, безмолвных, но погибавших на эпидемиях,



Лукаш Иван Созонтович (1892–1940) — прозаик, критик. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Горячо принял Февральскую революцию, посвятив ее героям серию брошюр, после октябрьского переворота вступил в ряды Добровольческой армии. С 1920 г. в эмиграции. В 1925 г. приехал в Ригу, где сотрудничал в газетах «Слово» и «Сегодня», с 1928 г. обосновался в Париже, стал сотрудником газеты «Возрождение», где публиковал рассказы, очерки о русской истории и культуре.

ведших жизнь истинно подвижническую. А учителя, учительницы?

Замечательно, что интеллигенция того времени была антиправославна, с церковью почти связи не имела, а в жизнь христианские чувства неслла. Противоречием было и то, что во многом она большевизм подготавливала, от большевизма же и приняла наибольшее гонение.

Во всяком случае, тот средне-просвещенный слой предвоенный, который я знал, ничего такого «ужасного» в себе не нес, как кажется нынешним его хулителям. Это была интеллигенция без кавычек, из нее выходили юристы, писатели, врачи, инженеры, художники, философы... и вовсе не обязательно было быть «неудачником» — вновь преувеличение. (Не вижу также, чем Христофоров неудачник? Тем, что не стал большевистским комиссаром?)

Умственное, духовное и артистическое творчество очень высоко стояло в этом слое. Именно в нашем веке, когда старое барство совсем отошло, все почти выдающееся в литературе, философии, музыке, живописи шло из интеллигенции. Вся эмигрантская литература вышла из нее. Вся музыка русская в Европе, все наши философы, художники здешние не могут отречься от своего происхождения.

Из-за того, что низы бессмысленно стерли и растоптали этот мир, — довольно поносить его. Слабости он свои имел.

Может быть, слишком было много «сложностей», изящества душевного, нервности, нежности, неврастения. Но одни страдания интеллигенции в революцию, и посейчас продолжающиеся, все искупают. За грехи заплачено кровью, золотым рублем. Поздно вновь тащить на крест то время.

* * *

Замечательно, что новейшая (послевоенная) литература французская глубоко серьезна, полна ощущения трагедии, далека от бойкости и самодовольства. Трагическое время не зря переживалось молодыми писателями. Отошли от гладкой «поверхности» Анатоля Франса. Углубились, ибо перестрадали. Характерно, как много из интеллигентов примкнуло к католицизму. (Две последние премии — Гонкуровскую и Фемина — получили Арлан и Бернанос, оба католики).

Во Франции интеллигентность, или, точнее, интеллектуальность, гораздо большее место заняла, чем в других странах, более уважается и дает лучшие плоды — с современной французской литературой ни одна другая соперничать не может.

Так что «утонченности» во Франции есть. Неудивительно, что в большой мере они влились в христианство, являющее собой наибольшие духовные сложности. <...>⁹ Неудивительно, что там слабы сейчас (анти-психичны) литература и искусства. В ослабленной степени то же и в Италии. (С тою разницей, что возрождающаяся Италия идет к материальному успеху естественно, а Россия пытается идти противостоественно. Но *fine fleur*¹⁰ культуры ни там ни тут не преуспевает.)

В России же удивительно следующее: в довоенное время опорой православия считался простой народ, в значительной степени крестьяне. Большинство церквей — по сельской России. Большинство верующих были мещане, серые купцы, крестьяне. Теперь все изменилось. Крестьяне, оказалось, очень мало сердцем

⁹ Пропуск в тексте. Можно предположить, что в пропущенной фразе речь идет либо о России, либо о Германии, в которой, как полагал Зайцев в 1929 г., «нет литературы и изобразительных искусств. В ужасном состоянии религия...» (9, 79).

¹⁰ Самое лучшее (фр.).

...Гонкуровскую и Фемина — получили Арлан и Бернанос... — Гонкуровская премия — самая престижная литературная премия Франции за лучший роман. Учреждена в 1903 г. Присуждается по итогам голосования членов Гонкуровской академии. Премия Фемина — французская литературная премия, учрежденная в 1904 г. Присуждается ежегодно жюри, в которое входят исключительно женщины.



Арлан (Arland) Марсель (1899–1986) — французский романист, литературный критик, журналист. Его роман «Порядок» («L'Ordre») удостоен Гонкуровской премии за 1929 г.

Бернанос (Bernanos) Жорж (1888–1948) — французский писатель католической ориентации. Его роман «Радость» («La Joie») удостоен премии Фемина за 1929 г.

были преданы вере. Я знаю русскую деревню и не удивляюсь массовому закрытию там церковей. Помню и довоенное сельское духовенство...

А интеллигенция при мне, в мои ранние годы, — сплошь находилась вне веры — теперь она главный оплот ее — и в России, и в эмиграции.

Вот вам и путь интеллигенции, вот ее «неудачничество»! Не очень-то я его вижу. В той же эмиграции: люди приехали в чужую страну, разбитые, ободранные — и все же устроились, внедрились. Завели свои церкви, школы, приюты, больницы... Я не удивился бы, если б та Надежда Николаевна, над сердечными делами которой посмеялся Лукаш, если б она работала сейчас, скажем, в Брюнуа или при церкви на Дарю. Катя могла бы служить в кутюр близ Елисейских Полей. Панурин отлично читал бы в Сорбонне «Историю романтизма в связи с мистикой». А рассказчику «Изгнания» — явно быть в Сергиевском подворье.

Так что не все так страшно с интеллигенцией, как кажется, когда рассердишься. Нельзя ее сводить к Ключевскому да Ломоносову, Лескову. Нет, дело сложнее.

Ее роль гораздо пестрей и своеобразнее. Менее исключительна, более связана с душою и мозгом страны.

Приложение

Катя, Панурин — персонажи рассказа Зайцева «Мать и Катя» (1915).

«Изгнание» — рассказ Зайцева (1910).

И. С. Лукаш

Новый Зайцев.

О книге «Избранные рассказы»

Гете сидел на барабане у костра. Это было после сражения с якобинцами у Вальми. в то холодное утро Гете сказал своим соседям по костру:

— Начинается новая эра, страница человеческой истории перевернута...

Кажется, именно так сказал Гете о французской революции. И почему-то эти слова вспоминались мне, когда я читал последнюю книгу Бориса Зайцева «Избранные рассказы. 1904–1927» издания «Русской библиотеки» в Белграде. Когда я читал его книгу, мне казалось, что и страница нашей литературы перевернулась, что и у нее началась новая эра. Я не знаю, когда началось это новое писательское сознание и мироощущение — может быть, после революции, за ее чертой, а может быть, еще не началось, но только начинается, однако я знаю и чувствую, что наша недавняя и уже померкшая литература кончилась. И я думаю, что последняя книга Бориса Зайцева подводит такой

И. С. Лукаш. Новый Зайцев. О книге «Избранные рассказы»

Возрождение. Париж. 1929.
19 дек. №1661.

Отклик на книгу: *Зайцев Б. Избранные рассказы. 1904–1927.* Белград, 1929.

Гете сидел на барабане у костра.

Это было после сражения с якобинцами у Вальми. — В сражении у французского селения Вальми 20 сентября 1792г. войска революционной Фран-

ции одержали победу над коалицией австро-прусской армии и роялистов. В этот день в Париже начал работу Национальный конвент, через два дня провозгласивший Францию республикой. Гете, находившийся у Вальми, сказал генералам прусского генштаба: «Здесь и сегодня начинается новая эра мировой истории, и вы можете сказать, что были тому свидетелями» (цит. по: Людвиг Э. Гете. М., 1965. С. 273).

отошедшей литературе итог, — хотя бы потому, что сам автор уже не повторит, конечно, таких рассказов, какие он писал в 1904–1910 годах.

Мне не приходится говорить о том, что всем хорошо известно, — о зайцевской прелести, об его всегдашней прохладно-гармонической утроне, голубой звезде, сквозящей легким светом, об его италийских пенатах, свежем холодке и плавающем свете, который вот-вот растает.

Через многие годы Борис Зайцев пронес понимание бытия как единого гармонического света и человека в нем как частицы атома света вечного. Именно это зайцевское миропонимание и наполняет собой, почти физически — светящейся прелестью почти каждую его страницу. Невещный и бестипный, когда хотите, даже бестемный (если все эти прилагательные с «без» допустимы) — он в то же время точно вобрал в себя легчайшие дуновения наших душ, то, что проходит, оставляя в душах не образ, а одно ощущение без образа, — таинственный след сна о том, что все в бытии и смерти едино-прекрасно и едино-светло. Этой мудрой прелестью, светлой красотой бытия, равной и в жизни и в смерти, полны, особенно за последние годы, женщины и девушки Зайцева.

Та же мудрая прелесть помогла Зайцеву, так сказать, перешагнуть и свою литературную эпоху, вырваться из той недавней эпохи, которая уже померкла. И его последняя книга, по моему мнению, отличное свидетельство о борьбе Зайцева со своим литературным временем. в последней книге, как мне кажется, проявляется новый, еще не отмеченный «план» писателя, — его прикровенный план. И сквозь миложенственное, знакомое лицо московского флорентинца проступает новое, и очень жесткое и очень суровое лицо. Может быть, такое впечатление вызвано отбором, так сказать, отстоем 23-летней писательской работы, когда эти, до того не замечаемые черты, выдвигаются резче.

В его книге, кроме двух-трех рассказов, стоящих особняком, все другие точно объединены некоей внутренней линией. Рассказы эти, хотя и разных лет и о разных событиях, но написаны как бы об одной и той же человеческой фигуре и следят за нею от детства («Заря») через всю жизнь («Миф», «Жемчуг», «Изгнание», «Мать и Катя») — до самой смерти («Странное

путешествие»). Герой, умирающий в «Странном путешествии», недаром носит имя одного из героев «Голубой звезды» — Христофорова. Точно сам автор указывает этим, что выбранная им человеческая фигура кончилась.

Каков же этот выбранный автором человек во всех рассказах за 23 года? Неуловимый человек, тусклый человек, томительно-тепловатая фигура — последний «лишних людей», чеховских «скучных людей». Ненужный человек русских 1904–1914 годов.

Такой человек назывался у нас «интеллигентом» в кавычках. Только в довоенной России были люди — не просто дурные или хорошие, не просто врачи, учителя, инженеры, профессора, адвокаты, литераторы, журналисты, художники, а такие люди, которые умудрялись никем и ничем не быть — ну, хотя бы пьяницей, так и то нет, — ничего не делать, ничего не понимать ни в России, ни в жизни и называться «интеллигентами», что прикрывало все их человеческое ничтожество.

С подлинной интеллигенции, с волевой и творческой элиты нашего народа должен быть наконец снят поклеп. Интеллигенция — самое высокое и самое обязывающее слово. В нем полнота ответственности. Это самое бодрое и самое обязывающее определение творчески действующих сил народа.

Но во что это слово превратилось у нас? Империя как будто отбрасывала негодный человеческий шлак и, при своих духовных и материальных богатствах, давала возможность этому шлаку существовать бездельно, бессмысленно и бесцельно. Вот это и были «интеллигенты» в кавычках, которые встречались и в домах литераторов, и в семьях ученых, и в среде артистов. По-видимому, в большинстве это были недоучившиеся студенты, аборигены петербургских и московских мебелирашек, вечные и непрменные неудачники. Собственно, это были люди полного духовного безделья и полной духовной безответственности. И конечно, такая «интеллигенция» ровно ничего не имеет общего с подлинной российской интеллигенцией. Но именно на этом типе, духовно-бездельном и безответственном, и произошло смешение несовместимых понятий; но именно за этого своего выкидыша, неудачливого и не нужному никому, и отвечает теперь так несправедливо часто оскорбляемая российская интеллигенция.

В самом деле, ну какой же, например, «интеллигент», в этом смысле, Менделеев или Павлов, Лесков, Ключевский, Соловьев и столькие с ними?

Записки этого «интеллигента» в кавычках и ведет как будто Борис Зайцев в своей книге с самого 1904 года.

Вот детство его («Заря», 1909 года), вот его любовь — почти по образцам тогдашних журналов, вроде «Грифа» или «Скорпиона», и с христианством, которое кажется герою «успокоенно-белеющим хором... Как милые березки», и вместе со «стихийной танцовщицей» и «солнечным безумием» («Миф», 1906 год). Или бывает у «интеллигента» любовь по-другому, если он особа женского пола. «Восемь лет мы любили друг друга, — скажет он тогда, — мучительно любили, были счастливы до гибели и были, в общем, несчастны». Расстались, встретились в Москве и договаривают о своей незадачливой любви в ресторане. Тогда еще носили платья с греческими рукавами или ибсеновские «платья-реформ», а автомобили были большой новостью: «Я села. Мы тронулись. Да, автомобиль вещь особенная. В нем летишь птицей». Прилетели в ресторан. «Александр Андреевич заказал устриц, мне котлету марешаль». И позже — хотя автомобиль, «воздушный конь», «носил нас в тихом безумии по улицам», и хотя «мы знали, что любовь наша прошла, что ничем ее не вернуть, как не остановить хода этих звезд. Что оплакивали мы нашу жизнь — почему-то незадачливую жизнь, перегнувшуюся теперь к закату. Что ушло бессмертное, ушло» («Жемчуг», 1919 год) — вы все равно уже никак не забудете этих котлеток марешаль...

Как ухнули в Лету все эти истерички и трагедийки «интеллигента» под ресторанныю музыку,

«Восемь лет мы любили друг друга, были, в общем, несчастны». — Неточная цитата из рассказа «Жемчуг». У Зайцева: «Восемь лет назад мы любили друг друга бурно, мучительно любили, бывали счастливы — до гибели, и были, в общем, очень несчастны» (1, 203).

«...котлету марешаль». — У Зайцева: «котлетку марешаль» (1, 205).

«...Мы знали, что любовь наша прошла... ушло бессмертное, ушло»... — неточная цитата. У Зайцева: «Мы знали, что любовь наша прошла, что ничем нельзя вернуть ее, как не остановить хода этих бледных звезд. Что оплакиваем мы нашу жизнь, — почему-то незадачливую жизнь, перегнувшуюся теперь к закату. Что ушло бессмертное, ушло» (1, 207).

с котлетами, и какой непростительной роскошью духовного безделья кажутся такие трагедийки теперь. Все это — «ушло».

Но вот выбранная фигура снова принимает мужеский пол: «В школе я учился хорошо, но равнодушно. Хорошо и в университете... Казалось, что я буду хорошим адвокатом, защитником угнетенных и подписчиком прогрессивных газет». Будущий защитник угнетенных все делает хорошо, но вполне равнодушно: зачем-то и прервнодушно женится на «горячей брюнетке», «которая продолжала курсы по филологическому отделению», зачем-то и вполне равнодушно рождает ребенка, также отправляется после 1905 года в Париж, надоедает наконец «горячей брюнетке» и начинает тогда думать «о жизни, океане и Евангелии»... — «Мой взор остановился на медузе, принесенной на берег» («Изгнание», 1910 год). Сам герой этого «Изгнания» — полного холодной иронии — студенисто-холодная медуза, выброшенная, говоря выпренне, на берег жизни из океана небытия. И зачем-то возвращается человек-медуза в отечество, теперь уже с «маленьким Евангелием», где у него есть «любимые места», хотя вовсе не нужен он ни себе, ни жене, ни своему ребенку, ни земле, ни океану, ни отечеству, ни Евангелию... А когда он снова станет особью женского пола, у него на полочке будут висеть «несколько открыток: писатели, актеры; две-три желтенькие книжки „Универсальной библиотеки“ и фотография Толстого, босяком» («Мать и Катя», 1914 год), но история его будет такой же предопределенно-незадачливой.

«Люди сами в себе», все эти зайцевские «интеллигенты» копошились в своих закутах по огромной и дикой волчице-России и не знали, не видели ни неба, ни земли, ни человека, ни России, а жили только «сами собой», своими ничтожествами, своими ничтожными «настроениями» и ничтожными «переживаниями». И проглядели ту дремучую страну, где жили, где священник Кронид «вел древнее служение», где пас стада «низкий старик Карпыч», похожий на язычника и на апостола, где «мужицкий праздник похож на лагерь гуннов» («Священник Кронид», 1905 год).

«Между тем в европейском ресторанчике становилось похоже на Россию. Компания студентов заказала чашу пива, и ее пустили вкруговую. Все орали, что-то

доказывали, но неизвестно было, для чего это делается» («Мать и Катя», 1914 год).

Вот это и была «интеллигентская» Россия, когда «все орали и что-то доказывали». О лагере гуннов там помышляли меньше всего. Таким «интеллигентам» казалось, что хотя и Россия, и весь мир, конечно, ни к черту не годятся, — но им-то — «соли земли» — всегда и при всех обстоятельствах будет отлично и удобно «любить» и «страдать».

А когда гунны пришли... Впрочем, что же говорить о том, что случилось, когда пришли гунны? Едва скрываемым презрением к тусклым «интеллигентным» фигурам полна книга Зайцева, — презрением и жестокой иронией.

Этот выбранный им русский человек умирает в рассказе «Странное путешествие» (1926 года):

«Увидев Христофорова, Потап Ильич перекрестился, низко ему поклонился:

— Эх, Алексей Петрович, милый человек... Ни за понюшку табаку.

Потом обернулся к Акиму:

— Не к нашим временам, нет... Ныне надо зубы волчи».

Потап Ильич не вовсе прав: не только не к нашим временам. Покойник был ни к каким временам. Было это русское «ни то ни се», «ни рыба ни мясо», эта многообразная и двуполовая особь, русский слизень, — действительно безводным облаком и дымом, погасшей душой, тем теплокровным, о котором не на наши, а на все времена сказано: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: о, если бы ты был холоден или горяч, — но ты тепел, и Я изблюю тебя из уст моих». «О, русские интеллигенты, о, слова, слова, прекраснотушие, приятность, барственность, народолюбие» — горько восклицает Зайцев в «Улице св. Николая» и сам выносит «интеллигенту» последний приговор: «Сурина жизнь, и не приятна, и не прекраснотушна».

«Увидев Христофорова, Потап Ильич перекрестился... надо зубы волчи». — Неточная цитата, с искажением имен персонажей.
У Зайцева:

«Увидев Христофорова, Панкрат Ильич перекрестился, низко ему поклонился:

— Эх, Алексей Иванович, милый человек... Ни за понюшку табаку!
Потом обернулся к Акиму:
— Не к нашим временам, нет... Ныне зубы надо волчи» (2, 424).

Так сквозь все прелести зайцевского описательства проглядывает в этом сборнике Зайцев новый — Зайцев прикровенной борьбы, Зайцев суровой горечи, презрения и жесткой иронии. И кажутся необычайными для уже сложившегося писательского облика такие беспощадные слова его о России в той же «Улице св. Николая» (1921 год):

«Все Русь и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов, все спешат домой, подальше от окопов, смерти холодной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремясь на родину — в ту же мразь беспросветную».

Так не в этом ли настоящая зайцевская Россия — отчаянная? Она не в его свете, благообразно-церковном, не в его флорентийских дуновениях по московским Пятисобачьим переулкам, а вот в этом человеке-медузе, бездельно и бессмысленно ползавшем по шерсти волчицы-России, и в этом «лагере гуннов», и в этой «мрази беспросветной»?

А благодный и прохладный свет зайцевской голубой звезды так теперь далек и неверен, что подобен только утешительному вымыслу отчаявшейся души. Да не погасла ли в нашей душе его московская голубая звезда, так же как уже давно погасло, запылилось и помертвело там чеховское «небо в алмазах»?

Не благодный свет, а горечь яда до отчаяния, — такой новый «план» приоткрывается теперь, на мой взгляд, в книге избранных рассказов Бориса Зайцева.

«Все Русь и Русь... стремясь на родину...» — В цитате допущены искажения. У Зайцева: «смерти холодной», «спешат, стремятся на родину» (2, 325).

И. С. Лукаш

Путаница

Недавно мне довелось писать об «интеллигенции» в кавычках, о том низком типе русского интеллигента, который прикрывал свою безответственность и бездеятельность некоей особой, будто бы высшей, «идейностью». Пытался я определить, как говорится, и социальное состояние этого типа: «по-видимому, в большинстве, — писал я, — это были недоучившиеся студенты, аборигены петербургских и московских мебелирашек, вечные и непрменные неудачники», это были те, кто в одном из рассказов Б. К. Зайцева «в европейском ресторанчике орали, что-то доказывали, но неизвестно было, для чего это делается».

Тем не менее Б. К. Зайцев в своей последней статье об интеллигенции затевает со мною неожиданный спор об интеллигенции вообще.

Но почему же в защите «интеллигента» в кавычках переводит он огонь на защиту всего российского просвещенного меньшинства? Я на него не нападал, и, стало быть, в защите интеллигенция и не нуждается. Б. К. Зайцеву не угодно было заметить того типа «интеллигента» в кавычках, о котором только и говорил я. Не «во имя справедливости», а из-за путаницы понятий возгорелся этот нечаянный бой. Мне приходится только сожалеть, что я, по-видимому, недостаточно отчетливо высказался.

И. С. Лукаш. Путаница
Возрождение. Париж. 1930. 2 февр.
№ 1706.

...в одном из рассказов Б. К. Зайцева... — далее цитата из рассказа «Мать и Катя» (1914).

Автор статьи дает и свои определения интеллигенции, но если бы они относились к «интеллигенции» в кавычках, то были бы очень и очень спорны. Вот эти определения: «зыбкие чувства», «не очень ценили свои блага земные», «несли в жизнь христианские чувства» и одновременно «во многом большевизм подготавливали». При этом слишком много было «сложностей», «изящества душевного, нервности, нежности, неврастений».

И зыбкие чувства, и неврастения, конечно, подходят. Верно и то, что «не очень ценили блага земные». Те фигуры, о которых писал я, те, кто оправдывали «идейностью» свое бездельное бытие, те действительно не очень-то ценили «блага земные». Они жили дурно и некрасиво, часто нечистоплотно и нетрезво. Они не ценили жизни и ее благ, потому что не были деятелями жизни, ни ее благ. Они не ценили и такого «блага земного», как Россия. Они были бездельниками и ничего не умели делать, а жили, так сказать, на даровщинку, за счет неумного общественного сочувствия к их «идейному» святошеству. Действительно, ни чувства собственности, ни чувства традиции, ни чувства иерархии у них не было.

Не было и духовной утонченности у такой «интеллигенции» в кавычках, вовсе не было, а на самом деле все ее «сложности» были только пошлыми толками умственной черни о последних «модах»: позавчера «гражданская скорбь», вчера Надсон, сегодня Чехов и декаденты, завтра богоискательство, а послезавтра футуризм и т. д.

Б. Зайцев доходит, между прочим, до таких выводов: «крестьяне, оказалось, очень мало сердцем были преданы вере», а интеллигенция, оказывается, «теперь главный оплот веры и в России, и в эмиграции». Стало быть, кто не «православно-церковный», кто не ходит в «оплотах», тот уже по нынешним временам и не интеллигентный человек. Однако!

Следует ли так с плеча и огулом «хулить» — возвращаю этот глагол статье «Об интеллигенции» — веру «мужика» и возносить до оплота всего православия веру «интеллигента», который, кстати сказать, по указанию самого автора статьи, до оглушительного разгрома революции «всегда был анти-православным».

Что-то очень уже зыбкой становится вся эта интеллигентская церковность, очень местно-парижским

все православие, некоей новой «кружковщиной», как бы повисшей в воздухе или даже безвоздушном пространстве, постройкой на парижском песке, а то и папашным домиком. Да и христианство не всегда церковность, да и церковность не всегда христианство, да и о вере отвергнутого автором статьи «мужика» — там, под спудом советским, — что мы здесь знаем? Разве вот о мужиках-федосеевцах с нашитыми крестами на белых шапках кое-что слышали. Нет, что-то уж очень гладко выдает статья исключительную привилегию на христианство интеллигенции, так же как выбирались ей раньше привилегии на «революцию» или на попечительство о «благих намерениях».

По Б. Зайцеву, интеллигенция — это «всякие духовные утонченности», «сложности» и, наконец, интеллектуальность. Но, повторяю, все эти определения не относятся к тому типу «интеллигенции», о котором писал я. «Интеллигент» в кавычках, наоборот, всегда был средним, массовым типом, «идейным» Ивановым 7-м, с «благими намерениями»...

* * *

Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь еще не знали слова «интеллигент». Эта кличка выдумана в 60-х годах в кружковщине Добролюбова и Чернышевского, и стала эта кличка «знаменем» не только русской просвещенности, но и черни духа, для которой «сапоги были выше Пушкина», а «душевное изящество» — барской дурью. Как раз не «сложности», а духовная опроченность, гордыня презрительного невежества, не «fine fleur»¹ культуры, а наше тупорылое отрицательство, нигилизм, проповедь всеобщего разгрома во имя «идейности». «Интеллигенция» в кавычках издавна отрицала искусство, религию, семью, — весь подлинный гуманизм, если только он не втискивался в ничтожный сапог идейности, сначала в шаблоны Бокля, потом Лаврова и, наконец, К. Маркса. Отрицалась ею и история России, и сама Россия. Кроме истории своих «общественных движений», она все проглядела.

Можно ли забыть также, например, как именно наши «интеллигенты» в кавычках травили и мучили Достоевского, заголовки которого («Дневник писателя»)

¹ Самое лучшее (фр.).

стоит над статьей «Об интеллигенции» Б. Зайцева. Да разве только Достоевского травили они? Автор статьи, правда, замечает, что у «классической» интеллигенции в кавычках была «пресыщенность идейностью», иногда утомительное доктринерство, шаблоны, рутина... Не только! Деспотизм духовного мракобесия был у этой умственной черни, а это «идейное» мракобесие искалечило русские поколения, исказило Россию и преобразило наше отечество в ад.

Вот о таком типе «интеллекта» я и писал, противопоставляя ему всю российскую просвещенность. Но автор статьи указывает мне, что нельзя вопрос об интеллигенции «сводить к Ключевскому, да Ломоносову, Лескову. Нет, дело сложнее». Конечно, дело сложнее. Но уж лучше сводить к Ломоносову и Лескову, чем к земскому врачу да чеховской фельдшерице.

Действительно, в былые и былым поросшие времена за «интеллигенцию» в России только и почитали что земского врача да фельдшерицу. Служилая и созидательная интеллигенция, ответственная и действенная, отрицалась нашей умственной чернью почти начисто. А ведь именно остатки служилой, военной и хозяйственной России в большинстве и добрались до Парижа, и до «церкви на рю Дарю», и до «кутюров близ Елисейских Полей». Здесь, эмиграции, почти нет пресловутой «интеллигенции» в кавычках. Эта безответственная и бездельная умственная чернь осталась в Москве, «на постах», и, как у Достоевского семинарист Ракитин, она «ходит на посылках» у советчины. И вовсе не платила она за свои грехи кровью, «золотым рублем», как говорит Б. Зайцев, а за все грехи своего недоноска и выкидыша действительно расплачиваются золотой кровью подлинные носители российской просвещенности.

Попробуем же определить, что такое подлинная интеллигенция, во избежание дальнейшей путаницы.

Я думаю, что интеллигенция — это духовная эманация народа, его интеллект, его воля, разум, действие и творчество, его гений. Интеллигенция — это нация, потому что нация — не племенное, не физиологическое состояние, а состояние духа, — над-племенное и над-народное психологическое и духовное бытие. Золотой век нашей культуры, — такими словами определяют его очень многие, — век Пушкина, и был веком российской нации. Только с шестидесятых

годов, когда нация стала опрощаться до племени, до народа, когда «пошли в народ» и стали искажать Петрову Россию «под народ», в целях ли «православно-самодержавного оплота» или всеобщего разрушения, — только тогда на смену российской нации пришла «интеллигенция».

Умственная чернь — только один из типов «интеллигенции», и типов отвратительных, в котором нечего защищать, но и вся интеллигенция российская, по условиям, стоявшим вне ее, не могла развиваться до новой нации и потому не могла, вероятно, что европейскую империю у нас стали подменять выдуманым с конца девятнадцатого века «царизмом», Петрову Россию — вымышленной «святой Русью», российскую нацию — одним великоросским племенем, а христианство и веру — «православной церковностью». Интеллигенция не развилась до новой нации, не отстояла себя, так и осталась рудиментом нации новой, еще не рожденной. И когда я думаю об интеллигенции, я думаю не о главном «оплоте веры», а о Петре. Я думаю, что у интеллигенции нет другой дороги, кроме дороги Петра, Ломоносова, Пушкина — петровской дороги преображения духа, в силе, а не в бессилии, — в деле, служении, долге и творчестве.

Скажу в заключение, что я мог ошибаться, конечно, в оценке типа «интеллекта» в кавычках, но не было у меня таких мыслей, какие мне приписывает Б. Зайцев, не было и «предустановленного желания», — «что вне дурного, того не надо видеть».

Содержание

А. М. Любомудров	
«Дневник писателя» Б. К. Зайцева: Диалог времен, культур и традиций	5
История создания и жанровые особенности «Россия Святой Руси»	6 11
Публицистика как духовное оружие	15
Полемика о роли интеллигенции	18

Дневник писателя

Бесстыдница в Афоне	25
Иоанн Кронштадтский	35
Оптина пустынь	43
Счастье	50
Об интеллигенции	57

Приложение

И. С. Лукаш	
Новый Зайцев. О книге «Избранные рассказы»	64
И. С. Лукаш	
Путаница	71

Зайцев Б.К.

- 3 17 Дневник писателя / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. А.М.Любомудрова. — М.: Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына: Русский путь, 2009. — 208 с.

ISBN 978-5-98854-015-1

ISBN 978-5-85887-334-1

Впервые полностью публикуется «Дневник писателя» классика литературы русского зарубежья Б.К.Зайцева, создававшийся им в 1929–1932 годах.

Художественный мир публицистической прозы Б.К.Зайцева уникален: его дневник содержит множество фактических сведений о литературной эпохе русского зарубежья. Работы, вошедшие в «Дневник писателя», вносили важный вклад в продуктивный диалог национальных культур, происходивший, в частности, в рамках Франко-русской студии. Материалы, в которых содержатся оценки книг, затрагиваются вопросы истории литературы, взаимодействия католицизма и православия, расширяют представление о взглядах Зайцева на итальянскую и французскую культуру, на литературные процессы в эмиграции и метрополии.

В качестве приложения публикуются работы авторов, с которыми Зайцев ведет в «Дневнике» творческий диалог (И. Лукаш, Г. Адамович).

УДК 882.0
ББК 84Р7

Борис Константинович Зайцев

Дневник писателя

Редактор Т. Е. Павлова
Корректор О. А. Савичева
Верстка М. В. Авдеева

Электронный макет книги создан специально для размещения на сайте издательства «Русский путь». Включает в себя избранные главы из «Дневника писателя» Б. К. Зайцева, предназначенные для ознакомления с книгой. Дизайн макета не повторяет изданный печатный вариант.

ЗАО «Издательство „Русский путь“».
109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (495) 915-10-05. E-mail: info@rp-net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт магазина «Русское Зарубежье»:
www.kmrz.ru